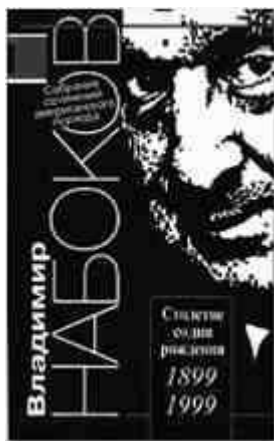


## Владимир Владимирович Набоков Подлинная жизнь Себастьяна Найта



*Перевод: Сергей Ильин*

## Аннотация

*«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (англ. *The Real Life of Sebastian Knight*) – первый роман Владимира Набокова на английском языке, написанный в декабре 1938 – январе 1939 гг. в Париже и впервые изданный в 1941 г. в США.*

## Владимир Набоков Подлинная жизнь Себастьяна Найта

### Глава 1

Себастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в прежней столице моего отечества. Старая русская дама, которая по какой-то невнятной причине просила меня не разглашать ее имени, однажды в Париже показала мне дневник, который вела в прошлом. Те годы были (по-видимому) так небогаты событиями, что перечисление повседневных подробностей (а это всегда – худой способ самосохранения) едва превосходило размером краткое описание погоды; тут любопытно отметить, что личные дневники царствующих особ, – какие бы беды ни осаждали их царства, – посвящены в основном тому же предмету. Удача приходит к тому, кто ей не мешает, – и вот мне предлагалось здесь нечто такое, чего я не смог бы добыть никогда, поставь я себе подобную цель. А потому могу сообщить, что утро Себастьянова рождения было погожим и безветренным, при двенадцати градусах ниже нуля (по Реомюру)... это, впрочем, и все, что сочла достойным записи почтенная дама. По здравом размышлении я не нахожу какой-то особой надобности сохранять ее инкогнито. Чтобы она когда-либо прочла эту книгу, представляется мне решительно невероятным. Звали ее и зовут Ольга Олеговна Орлова – матрешечная аллитерация, которую жаль было бы оставить втуне.

Сухой отчет ее вряд ли способен сделать зримой для не повидавшего света читателя всю подразумеваемую прелесть описанного ею зимнего петербургского дня – чистую роскошь безоблачного неба, созданного не для согревания тела, но единственно для услаждения глаза; сверкание санных следов на убитом снегу просторных улиц с рыжеватым тоном промежду, рождаемым жирной смесью конского навоза; яркоцветную связку воздушных шаров, которыми торгует на улице облаченный в фартук лотошник; мягкое скругление купола, с позолотой, тускнеющей под опушкой морозной пыли; березы городского сада, у которых каждый тончайший сучок обведен белизной; звон и скрежет зимней езды... а кстати, какое странное чувство испытываешь, глядя на старую почтовую карточку (вроде той, что я поставил себе на стол, чтобы ненадолго занять память-дитя) и вспоминая, как наобум, где и когда придется, заворачивали русские экипажи, так что вместо нынешнего прямого и стесненного уличного потока видишь – на этой подкрашенной фотографии – улицу шириною в сон, всю в скособоченных дрожках под небывало синими небесами, которые там, вдали, непроизвольно заливаются румянцем мнемонической пошлости.

Я не смог раздобыть изображения дома, где был рожден Себастьян, но я хорошо его знаю, потому что и сам в нем родился шестью, примерно, годами позднее. У нас был один отец: он снова женился вскорости после развода с матерью Себастьяна. Как ни странно, это второе супружество вовсе не упомянуто в написанной м-ром Гудменом “Трагедии Себастьяна Найта” (которая вышла в 1936 году и которой у меня еще будет случай заняться с большей полнотой), так что читателям книги Гудмена я должен представляться несуществующим – поддельный родич, словоохотливый самозванец; впрочем, сам Себастьян в наиболее автобиографичной из его книг (в “Утерянных вещах”) для моей матушки нашел несколько добрых слов, – и полагаю, она их вполне заслужила. Не отличаются точностью и сообщения в британской прессе, появившиеся после кончины Себастьяна, касательно гибели его отца на дуэли в 1913 году; на самом деле отец уверенно оправлялся от пулевого ранения в грудь, когда – ровно месяц спустя – подхватил простуду, с которой его наполовину залеченное легкое справиться не сумело.

Превосходный солдат, сердечный, веселый, мужественный человек, он обладал великолепной чертой безрассудного беспокойства, которую Себастьян унаследовал как писатель. Говорят, что прошлой зимой на литературном завтраке в Южном Кенсингтоне знаменитый старый критик, блеском и ученостью которого я всегда восхищался, обронил в разговоре, порхавшем вокруг безвременной кончины Себастьяна: “Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: первый – скучный человек, писавший на ломаном английском, второй – ломаный человек, писавший на скучном английском”. Скверная колкость, и скверная не в

одном отношении, потому что слишком легко судачить о мертвом писателе за спинками его книг. Хотелось бы верить, что шутник не чувствует гордости, вспоминая об этой своей шутке, тем более, что несколько лет назад в рецензии, посвященной одной из книг Себастьяна Найта, он проявил куда как большую сдержанность.

Тем не менее нужно признать, что в каком-то смысле жизни Себастьяна, хоть далеко и не скучной, недоставало потрясающей мощи его литературного стиля. Каждый раз, открывая какую-нибудь из его книг, я, кажется, вижу отца, стремительно входящего в комнату, – его особую манеру наотмашь распахивать дверь и радостно набрасываться на нужную вещь или любимое существо. Первым моим впечатлениям от него всегда не хватает дыхания: я вдруг взрываю над полом с половинкой игрушечного поезда, еще свисающей из кулачка, и хрустальные подвески люстры качаются в опасной близости от моей головы. Он ахал меня об пол так же внезапно, как отрывал от него, так же внезапно, как Себастьянова проза сбивает читателя с ног, и тот с ужасом рушится в глумливые глубины нового необузданного абзаца. Также и кое-какие излюбленные сарказмы отца, кажется, вспыхивают фантастическими соцветьями в таких типично найтовских рассказах, как “Альбиносы в черном” или “Потешная гора”, – в этом, может быть, лучшем его рассказе, очаровательно странной истории, всегда заставлявшей меня вспоминать дитя, смеющееся во сне.

Это произошло за границей, в Италии, насколько я знаю, именно там повстречал отец – в ту пору молодой гвардейский офицер в отпуску, – Вирджинию Найт. Их первое знакомство было как-то связано с лисьей охотой в окрестностях Рима в начале девяностых годов, однако, упоминала ль об этом мама, или сам я подсознательно припоминаю какие-то смутные снимки в семейном альбоме, доподлинно сказать не могу. Он долго домогался ее руки. Она была дочерью Эдуарда Найта, джентльмена со средствами, – это все, что я о нем знаю; из того, однако ж, что бабушка моя, женщина суровая и нравная (помню ее веер, ее митенки, холодные, белые пальцы), решительно противилась их браку и все повторяла предание о своих возражениях даже и после того, как отец женился вторично, я склонен вывести, что семейство Найт (что бы оно собою ни представляло) не вполне дотягивало до норм (что бы собою ни представляли они), за соблюдение коих ратовали старорежимные русские краснокаблучники. Я не уверен также, не нарушил ли в чем-то первый брак отца традиций его полка, – как бы то ни было, военная его карьера по-настоящему началась лишь вместе с Японской войной, а это уж было после того, как жена его оставила.

Я был еще ребенок, когда потерял отца, и уже много, много лет спустя, в 1922 году, за несколько месяцев до последней из перенесенных мамой и фатальной для нее операции, рассказала она мне о том, что, как ей казалось, мне следовало знать. Первый брак отца не был счастливым. Странная женщина, беспокойное, безрассудное существо, и беспокойство ее было иное, чем у отца. У него – постоянный поиск, переменявший цель лишь после ее достижения. У нее – вялое преследование, прихотливое и бессвязное, то далеко уклоняющееся от цели, то забывающее о ней на середине пути, – вот как в такси забываешь зонтик. На свой лад она любила отца, на свой переменчивый, чтобы не сказать большего, лад, но едва ей в один прекрасный день показалось, что она, быть может, полюбила другого (которого имени отец никогда от нее не услышал), она покинула мужа и ребенка так же вдруг, как соскальзывает к краю листа сирени капля дождя. Вот этот взрывающий рывок покинутого листа, отяжеленного прежде сверкающим бременем, должно быть, причинил отцу жгучую боль; и я не хочу даже в мыслях задерживаться на том дне в парижском отеле с почти четырехлетним Себастьяном, за которым кое-как надзирает растерянная нянька, и отцом, который заперся в своей комнате, “в той особенного пошиба гостиничной комнате, что так безупречно подходит для постановки наихудших трагедий: мертвенный блеск часов (нафабранные усы – без десяти минут два) под стеклянным колпаком на зловещей каминной полке, французское окно с мухой, загулявшей между стеклом и муслином, и листок гостиничной писчей бумаги из затрепанного блок-нота с переложенными промокашкой листами”. Эта цитата из “Альбиносов в черном” текстуально никак не связана с таким именно несчастьем, но в ней отозвались давние воспоминания мальчика, мающегося на холодном гостиничном ковре, – заняться нечем, а время странно растягивается, разъезжается вкривь и вкось.

Война на Дальнем Востоке доставила отцу счастливое занятие, которое помогло ему –

если и не забыть Вирджинию, то хотя бы вновь сделать жизнь достойной продления. Его энергический эгоизм был ничем иным, как формой мужественной живучести и, как таковой, вполне сочетался со щедрой в сути своей натурой. Вечные муки, не говоря уж о самоубийстве, должны были представляться ему жалким уделом, позорной капитуляцией. Когда он снова женился в 1905 году, он, верно, испытал удовлетворение человека, вышедшего победителем из схватки с судьбой.

Вирджиния еще раз появилась в 1908 году. Заядлая путешественница, она была вечно в движении и чувствовала себя как дома в любом крохотном пансионе или в дорогой гостинице, – домом был для нее лишь покой постоянных перемен; Себастьян от нее унаследовал странную, почти романтическую страсть к спальным вагонам и великим европейским экспрессам: “тихое потрескивание полированных панелей в синеватой ночи, долгий печальный вздох тормозов на смутно угадываемых станциях, кверху скользит тисненая кожа сторки, и возникает перрон, мужчина катит багаж, молочный шар фонаря, бледная бабочка вьется вокруг, звякает невидимый молоток, проверяя колеса; мы соскальзываем в темноту и промельком видим женщину, одну, в освещенном купе, что-то серебристо блеснуло у нее под руками в чемодане на синем плюше”.

Она приехала зимним днем, на Норд-Экспрессе, безо всякого извещения, и прислала коротенькую записку, прося о свидании с сыном. Отец был в деревне на медвежьей охоте, так что матушка, таясь, отправилась с Себастьяном в “Европейскую”, где всего на полдня остановилась Вирджиния. Здесь, в вестибюле, и увидела она первую жену своего мужа, худощавую, немного угловатую даму с маленьким подрагивающим лицом под огромной черной шляпой. Подняв вуаль над губами, чтобы поцеловать мальчика, и едва коснувшись его, она заплакала, как если бы в теплом и нежном виске Себастьяна был и источник, и утоление ее печали. Сразу за этим она надела перчатки и принялась на дурном французском рассказывать маме бессмысленную и совсем неуместную историю про польскую женщину, которая пыталась стянуть у нее сумочку в вагоне-ресторане. Потом она сунула в ладонь Себастьяна пакетик засахаренных фиалок, нервно улыбнулась маме и ушла следом за носильщиком, выносившим ее чемодан. Вот и все, а через год она умерла.

От ее двоюродного брата, Х.Ф. Стейнтон, я знаю, что в последние месяцы жизни она скиталась по югу Франции, задерживаясь на день, на два в жарких провинциальных городках, редко навещаемых туристами, возбужденная, одинокая (любовника она бросила) и, видимо, очень несчастная. Можно было подумать, что она убегает от кого-то или чего-то, так она сдваивала и пересекала собственные следы; с другой стороны, всякому, кто знал ее причуды, эти лихорадочные метания должны были казаться лишь финальным нарастанием ее всегдашнего беспокойства. Она умерла от сердечного приступа (болезнь Лемана) в городке Рокебрюн, летом 1909 года. Были кое-какие трудности с доставкой тела в Англию; родители ее незадолго перед тем скончались; один только м-р Стейнтон и присутствовал на ее похоронах в Лондоне.

Мои родители жили счастливо. То был спокойный нежный союз, не замутненный вздорной болтовней кое-кого из нашей родни, что, мол, отец, хоть он и любящий муж, нет-нет да и увлечется другой женщиной. Как-то раз, в канун Рождества 1912 года, одна его знакомая, весьма очаровательная и неосмотрительная девица, прогуливаясь с ним по Невскому, упомянула вскользь, что жених ее сестры, некто Пальчин, знал его первую жену. Отец сказал, что помнит его, – они встречались в Биаррице лет, примерно, десять тому или девять...

– Ах, нет, он знался с нею и позже, – сказала девица, – он, видите ли, повинился перед сестрой, что жил с Вирджинией после того, как вы разошлись... Потом она его бросила где-то в Швейцарии... Занятно, никто и не знал.

– Что ж, – спокойно сказал отец, – если это не выплыло раньше, не стоит начинать болтать об этом спустя десяток лет.

По весьма несчастливому совпадению прямо на следующий день добрый друг нашей семьи, капитан Белов, походя спросил отца, верно ли, что первая его жена родом была из Австралии, – ему, капитану, казалось всегда, что она англичанка. Отец отвечал, что, насколько он знает, родители ее жили какое-то время в Мельбурне, но она родилась в Кенте.

–...А почему вы об этом спрашиваете? – прибавил он.

Капитан ответил, замявшись, что его жена была где-то в гостях, и там кто-то что-то рассказывал.

– Боюсь, придется прекратить это что-то, – сказал отец.

Следующим утром он посетил Пальчина, который принял его, выказав гораздо больше радушия, чем то было надобно, и сказал, что провел много лет за границей и рад всякой встрече со старым другом.

– Здесь расплзается некая грязная ложь, – сказал отец, не присев, – полагаю, вам известно, – какая.

– Послушайте, голубчик, – сказал Пальчин, – я не вижу проку прикидываться, будто не понимаю, куда вы клоните. Жаль, конечно, что пошли разные толки, но, в сущности, ни у меня, ни у вас нет причины выходить из себя... Никто же не виноват, что когда-то мы оба оказались в одинаковом положении.

– В таком случае, сударь, – сказал отец, – вас навещают мои секунданты.

Пальчин был хам и дурак, так, во всяком случае, я понял из рассказанной матушкой истории (оживленной в ее пересказе прямой речью, которую я постарался здесь сохранить). Но именно потому, что Пальчин был хам и дурак, мне трудно постичь, зачем было человеку с достоинствами моего отца рисковать жизнью ради удовлетворения – чего? Чести Вирджинии? Собственной жажды мести? Но ведь так же, как честь Вирджинии была невозвратно загублена самим ее бегством, так и мыслям о мщении следовало давным-давно утратить злую их неотвязность в счастливые годы второго супружества отца. Или дело тут шло о названном имени, об увиденном лице, о внезапности нелепого зрелища – об оттиске личности на том, что было укрощенным, безликим призраком? Но как бы там ни было, стоило ли оно, это эхо далекого прошлого (а эхо редко не походит на лай, как бы ни был чист выкликающий голос), стоило ли оно разрушения нашего дома и горя моей матери?

Дуэль состоялась в вьюге, на берегу промерзшего ручья. Они обменялись двумя выстрелами, прежде чем отец рухнул ничком на сизовато-серую армейскую шинель, распластанную на снегу. Пальчин, у которого тряслись руки, раскурил папиросу. Капитан Белов кликнул извозчика, смиренно ждавшего поодаль, на заметенной снегом дороге. Все это скверное дело заняло три минуты.

В “Утеранных вещах” Себастьян передает собственные впечатления от этого скорбного январского дня. “Ни мачеха, – пишет он, – и никто из домашних ничего о неминуемой схватке не знал. Накануне за обедом отец кидал в меня через стол хлебными катышками: я целый день дулся из-за кошмарного шерстяного белья, которое приходилось носить по настоянию доктора, и он старался развеселить меня, я же хмурился, краснел и отворачивался. После обеда мы сидели в его кабинете, он глоточками потягивал кофе и слушал жалобы мачехи на пагубную привычку Mademoiselle давать сладости моему младшему брату, уложивши его в постель; а я, сидя в дальнем углу на диване, перелистывал “Chums”<sup>1</sup>: “Продолжение этой замечательной истории ищите в следующем выпуске”. Шутки понизу больших тонких страниц. “Почетному гостю показывают школу: Что вас сильнее всего поразило? – Горошина из трубки”. Экспрессы, рычащие в ночи. Игрок сборной по крикету, отбивающий нож, который метнул в его приятеля злобный малаец... “Сногшибательная” повесть с продолжением о трех мальчиках, один, гуттаперчевый, умело вращал носом, второй показывал фокусы, третий чревовещал... Всадник, перескочивший гоночное авто...”

Назавтра в школе я совершенно запутался в геометрической задачке, которая на нашем жаргоне звалась “пифагоровыми штанами”. Утро было такое темное, что в классе зажгли свет, а у меня от него всегда начинало противно гудеть в голове. Около половины четвертого я возвратился домой с липучим чувством нечистоты, какое всегда приносил из школы, оно обогачалось теперь щекотным бельем. В прихожей навзрыд плакал отцовский денщик”.

## Глава 2

В своей опрометчивой и очень путаной книге м-р Гудмен набрасывает в нескольких

<sup>1</sup> Приятели, кореша (англ.)

скверно подобранных предложениях до смешного неверную картину отрочества Себастьяна Найта. Одно дело – быть секретарем писателя, и совсем другое – описывать его жизнь; если же такая работа внушается желанием успеть выложить книгу на прилавок, пока еще можно подзаработать, поливая цветы на свежей могиле, то совсем уж другое дело пытаться соединить коммерческую спешку с исчерпывающим исследованием, честностью и благоразумием. Я ничьей репутации мараф не намерен. Ничего нет зазорного в утверждении, что лишь увлекшись бойким клекотом пишущей машинки, мог м-р Гудмен заявить, что “русское образование было навязано мальчику, всегда сознававшему обилие английского элемента в своей крови”. Это иностранное влияние, продолжает м-р Гудмен, “причиняло ребенку жгучие муки, так что в более зрелые годы он с содроганием вспоминал бородатых мужиков, иконы, гудение балалаек – все, что он получил взамен здорового английского воспитания”.

Вряд ли стоит указывать, что понятия м-ра Гудмена о русской жизни не ближе к истине, чем, скажем, представления калмыка об Англии как о мрачной стране, в которой школьные учителя с рыжими бакенбардами нещадно секут детишек. На самом деле – и это следует подчеркнуть, – Себастьян рос в обстановке интеллектуальной изысканности, в которой духовное изящество русского домашнего уклада сочеталось с лучшими из сокровищ европейской культуры, и какими бы ни были воспоминания Себастьяна о России, сложная и особенная их природа никогда не опускалась до вульгарного уровня, мысль о котором внушает нам его биограф.

Я вспоминаю Себастьяна – мальчика, шестью годами старшего меня, творящего великолепную акварельную неразбериху в уютном свете царственной керосиновой лампы, чей розоватый шелковый абажур кажется написанным его же мокрой кистью – теперь, когда он рдеет в моей памяти. Я вижу и себя ребенком лет четырех-пяти, привставшим на цыпочки, тянущимся и ерзающим в попытках как следует рассмотреть ящичек с красками, заслоняемый подвижным локтем единокровного брата: клейкие красные с синими, до того уже вылизанные и истертые, что в их выемках поблескивает эмаль. Легкое дребезжание слышится всякий раз, что Себастьян смешивает цвета в жестяной крышке, и вода в стоящем обок стакане клубится волшебными красками. Его темные коротко остриженные волосы обнаруживают родинку, видимую над ало просвечивающим ухом, – я уже вскарабкался на стул, – но он по-прежнему не обращает на меня никакого внимания, пока, сделав рискованный выпад, я не пытаюсь коснуться самой синей лепешки в ящичке, и тогда, дернув плечом, он отталкивает меня, так и не обернувшись, так и оставшись холодным и молчаливым, – каким он был со мною всегда. Я помню, как, заглянув через перила, я увидел его всходящим после школы по лестнице, в черной форме с кожаным ремнем, о котором я втайне мечтал; он поднимался медленно, ссутулясь, волоча за собой пегий ранец, поглаживая перила, время от времени перетягивая себя через две-три ступеньки зараз. Губы мои пучатся, я выдавливаю белый плевочек, который падает вниз, вниз, всегда минуя Себастьяна; я делаю это не оттого, что хочу ему досадить, но в томительной и тщетной надежде заставить его заметить, что я существую. Есть и еще живое воспоминание: на велосипеде с очень низким рулем он едет по испещренной солнцем тропе через парк нашей загородной усадьбы, медленно заворачивает, не тронув педалей, а я семеню за ним, прибавляя ходу, когда его ступня в сандалии отжимает педаль, я изо всех сил стараюсь не отстать от пощелкивающего и пришепетывающего заднего колеса, но он не замечает меня, и вскоре я отстаю безнадежно, вконец запыхавшись, но все продолжая семенить.

Потом, позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять, он иногда помогал мне с уроками, давая пояснения так торопливо и нетерпеливо, что никогда ничего путного из его помощи не получалось, и спустя несколько минут он совал карандаш в карман и гордо удалялся. В ту пору он был высок, бледен, с темной тенью над верхней губой. Волосы теперь разделялись глянцевитым пробором, он писал стихи в черной тетради, которую держал под замком в ящике стола.

Я обнаружил однажды, куда он прячет ключ (в щель в стене его комнаты, рядом с белой голландкой), и открыл этот ящик. Там была тетрадь и еще фотография сестры одного из его школьных приятелей, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были английские. Незадолго до смерти отца нам давали дома уроки английского, и хоть я так и не смог научиться бегло говорить на этом языке, читал и писал я с

относительной легкостью. Смутно помню, что стихи были очень романтические: все мрачные розы и звезды, и зовы морей; но одна подробность встает в моей памяти очень ясно: под каждым стихотворением был вместо подписи чернилами нарисован черный шахматный конь.

Я попытался создать связную картину того, каким мне виделся брат в те мои детские лета между, скажем, 1910-м (первым моим сознательным годом) и 1919-м (годом, когда он уехал в Англию). Однако задача оказывается мне не по силам. Облик Себастьяна не возникает как часть моего отрочества (подвергаясь вследствие этого бесконечному отбору и развитию), не возникает он и в виде ряда привычных видений, нет, он является мне лишь в нескольких ярких пятнах, словно бы Себастьян был не постоянным членом нашей семьи, но каким-то случайным гостем, проходящим освещенными комнатами и после надолго теряющимся в ночи. Я объясняю это не столько тем, что собственные мои детские интересы препятствовали сколько-нибудь сознательным отношениям с ним, недостаточно юным, чтобы стать мне товарищем, и недостаточно взрослым, чтобы меня направлять, но всегдашней отчужденностью Себастьяна, которая, при том что я нежно его любил, никогда не снисходила до признания моей привязанности и не давала ей пищи. Я мог бы, пожалуй, изобразить, как он ходил или смеялся, или же как чихал, но все это будут не более чем разрозненные куски порезанной ножницами фильма, ничего не имеющие общего с запечатленной в ней драмой. А драма была. Себастьян так и не смог забыть своей матери, не смог он забыть и того, что отец его умер ради нее. То, что имя ее никогда в нашем доме не упоминалось, добавляло болезненной прелести памятным чарам, переполнявшим его восприимчивую душу. Я не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно припомнить то время, когда она была женою отца; вероятно, отчасти мог – как мягкий свет на заднике своей жизни. Не могу я сказать и того, что испытал он, когда девятилетним мальчиком снова увидел мать. Мама говорит, что он был вял и косноязычен и после никогда не упоминал об этой короткой и трогательно незавершенной встрече. В “Утеранных вещах” Себастьян намекает на смутно горькие чувства по отношению к счастливо женившемуся отцу, чувства, сменившиеся восторженным преклонением, когда он узнал причину его роковой дуэли.

“Мое открытие Англии, – пишет Себастьян (“Утеранные вещи”), – вновь оживило во мне самые сокровенные воспоминания... После Кембриджа я поехал на континент и провел две тихих недели в Монте-Карло. По-моему, там есть какое-то казино, и в нем играют, коли так, я его проглядел, потому что большую часть времени у меня отняло сочинение моего первого романа – весьма претенциозной вещицы, которую, рад сообщить об этом, отвергло едва ли не столько же издателей, сколько читателей имелось у моей следующей книги. Как-то я предпринял дальнюю прогулку и отыскал городок, называемый Рокебрюн. Это здесь, в Рокебрюне, тринадцать лет назад умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец говорил со мной о ее кончине, и название пансиона, в котором это случилось. Он назывался “Les Violettes”<sup>2</sup>. Я спросил шофера, знает ли он этот дом; он не знал. Тогда я спросил у торговца фруктами, и он показал мне дорогу. Наконец я пришел к розовой вилле, крытой обычной в Провансе круглой красной черепицей, и увидел букетик фиалок, неумело намаляванный на калитке. Так значит, вот этот дом. Я пересек сад, заговорил с хозяйкой. Она сказала, что только недавно приняла пансион у прежних владельцев и ничего о прошлом не знает. Я попросил разрешения посидеть немного в саду. Старик, голый настолько, насколько я мог его видеть, таранился на меня с балкона, но больше никого вокруг не было. Я присел на синюю скамью под большим эвкалиптом с наполовину облезлым стволом, какие, похоже, всегда бывают у этих деревьев. Я старался увидеть розовый дом, и дерево, и весь облик этого места такими, какими их видела моя мать. Я жалел, что не знаю в точности окна ее комнаты. Судя по названию виллы, перед глазами у ней, верно, была вот эта куртина лиловатых фиалок. Понемногу я довел себя до такого состояния, что на миг розовое и зеленое замер-

<sup>2</sup> Фиалки (франц.)

*Прошу обратить внимание, что для перевода французских фраз использовался только Promt, мозг при этом был выключен.*

*бокoпoп*



цало и поплыло, как бы видимое сквозь пелену тумана. Моя мать, смутная, тонкая фигура в огромной шляпе, медленно всходила по ступенькам, которые, казалось, таяли в воде. Жуткий, глухой удар привел меня в чувство. Из бумажной сумки у меня на коленях выкатился апельсин. Я подобрал его и покинул сад. Через несколько месяцев, в Лондоне, я познакомился с ее двоюродным братом. В разговоре я упомянул, что навещил место ее смерти. “А, – сказал он, – так это был другой Рокебрюн, тот, что в Варе”.

Любопытно отметить, что м-р Гудмен, цитируя это же самое место, удовлетворенно отмечает, что “Себастьян Найт был до того обольщен бурлескной стороной вещей и столь неспособен интересоваться их серьезной основой, что ухитрился, не будучи от природы ни циничным, ни бессердечным, вышучивать интимные чувства, справедливо почитаемые священными всем остальным человечеством”. Не диво, что этот важный биограф оказывается не в ладу со своим героем при каждом повороте повествования.

По причинам, уже упомянутым, я не стану пытаться описывать отрочество Себастьяна в какой-то последовательной связи, которой я достиг бы естественным образом, будь Себастьян выдуманным персонажем. Когда бы так, я мог бы надеяться, что сумею и развлечь, и наставить читателя, рисуя гладкое перетекание героя из детства в юность. Но если бы я попробовал проделать это с Себастьяном, я получил бы одну из тех “*biographies romancées*”<sup>3</sup>, что являют собою наихудший из выведенных донныне сортов литературы. Пусть поэтому закроется дверь, оставив лишь тонкую линию напряженного света понизу, пусть и лампа погаснет в соседней комнате, где улегся спать Себастьян; пусть прекрасный оливковый дом на набережной Невы неторопливо растает в сизо-серой морозной ночи, с нежно падающими снежными хлопьями, медлящими в лунно-белом сиянии высокого уличного фонаря и понемногу укрывающими могучие члены двух бородатых консольных фигур, с атласовой натугой подпирающих эркер отцовской спальни. Отец мой мертв, Себастьян заснул или, по крайней мере, затих, словно мышь, в комнате рядом, а я лежу в постели без сна, уставясь в темноту.

Через двадцать примерно лет я предпринял поездку в Лозанну, чтобы найти старую швейцарскую даму, бывшую гувернанткой вначале у Себастьяна, а потом у меня. Ей было, пожалуй, под пятьдесят, когда в 1914 году она оставила нас, переписка меж нами давно уже прервалась, а потому я вовсе не был уверен, что отыщу ее, еще живую, в 1936-м. Однако же отыскал. Существовал, как я обнаружил, союз швейцарских старушек, бывших гувернантками в России, до революции. Они “жили своим прошлым”, как выразился очень приятный господин, который свел меня к ним, тратили последние годы, – а в большинстве своем эти женщины одряхлели и отчасти рехнулись, – сравнивая записки, воюя друг с дружкой по пустякам и порицая состояние дел, которое застали в Швейцарии после многих лет, проведенных в России. Их трагедия коренилась в том, что все годы, проведенные на чужбине, они оставались совершенно невосприимчивыми к ее влияниям (до того даже, что не научились простейшим русским словам), а отчасти и враждебными своему окружению – сколько раз я слышал, как *Mademoiselle* оплакивает свое изгнание, жалуется на пренебрежение, непонимание и тоскует по своей прекрасной отчизне; однако, когда эти бедные блудные души возвратились домой, оказалось, что они совершенно чужие в переменившейся стране, и тут по странной вычуре чувств Россия (в сущности, бывшая для них неизведанной бездной, отдаленно порывающей вне освещенного лампой угла душноватой комнаты с семейными фотографиями в перламутровых рамках и акварельным видом Шильонского замка), эта неведомая Россия приобрела вдруг черты потерянного рая – бескрайнего и неясного, но приятного в ретроспективе пространства, населенного плодами мечтательного воображения. *Mademoiselle* оказалась очень глухой и очень седой, но такой же говорливой, как и прежде; после первых пылких объятий она принялась вспоминать мелкие обстоятельства моего детства, либо безнадежно искаженные, либо столько чуждые моей памяти, что я усомнился в их прошедшей реальности. Она ничего не знала о смерти моей матери, не знала, что Себастьян уже три месяца как мертв. Собственно, она не ведала и о том, что он стал знаменитым писателем. Она была очень слезлива, и слезы ее были очень искренни, но, ка-

<sup>3</sup> Биографический роман (франц.)

жется, ее немножко сердило, что я не плачу с ней вместе. “Вы всегда были такой сдержанный”, – сказала она. Я сообщил, что пишу книгу о Себастьяне, и попросил рассказать о его детстве. Она появилась у нас вскоре после второй женитьбы отца, но прошлое в ее сознании так расплылось и смешалось, что она говорила о первой его жене (“*cette horrible Anglaise*”<sup>4</sup>) так, словно знала ее не хуже, чем мою мать (“*cette femme admirable*”<sup>5</sup>). “Мой бедный маленький Себастьян, – причитала она, – такой нежный со мной, такой благородный. Ах, я помню, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: “Я ненавижу всех, кроме тебя, Зелли, ты одна понимаешь мою душу”. А в тот раз, когда я шлепнула его по руке – *une toute petite tape*<sup>6</sup> – за то, что он нагрубил вашей матушке, какие у него были глаза, – я чуть не заплакала, – и каким голосом он сказал: “Я благодарен тебе, Зелли, это никогда больше не повторится...””

Она долго еще продолжала в этом же духе, отчего я испытывал унылое неудобство. В конце концов я ухитрился, после нескольких бесплодных попыток переменить разговор, – я к тому времени совершенно охрип, потому что она куда-то засунула свою слуховую трубку. Потом она рассказывала о своей соседке, маленькой толстушке, еще старше нее, с которой я столкнулся в коридоре. “Бедняжка совсем глуха, – жаловалась она, – и страшная врунья. Я наверное знаю, что она только давала уроки детям княгини Демидовой, а вовсе у них не жила”. “Напишите эту книгу, эту прекрасную книгу, – прокричала она, когда я уходил, – пусть она будет волшебной сказкой, а Себастьян – принцем. Очарованным принцем... Я столько раз говорила ему: “Себастьян, будьте осторожны, женщины будут обожать вас”. А он с улыбкой отвечал: “Ну что же, я тоже буду обожать женщин...””

Я внутренне скрючился. Она чмокнула меня и похлопала по руке, и опять прослезилась. Я посмотрел в ее мутные старые глаза, на мертвый глянец ее фальшивых зубов, на хорошо мне памятную гранатовую брошь на груди... Мы расстались. Шел сильный дождь, я испытывал стыд и досаду на то, что прервал этим ненужным паломничеством вторую главу моей книги. Одно впечатление в особенности угнетало меня. Она ни единого разу не спросила меня о том, как жил Себастьян, не задала ни одного вопроса о том, как он умер, ничего.

### Глава 3

В ноябре 1918 года матушка решила бежать от российских опасностей со мною и Себастьяном. Революция была в полном разгаре, границы закрылись. Ей удалось найти человека, промышлявшего скрытной доставкой беглецов через границу; договорились, что за определенную мзду, половина которой выплачивалась вперед, он переправит нас в Финляндию. Нам предстояло сойти с поезда невдалеке от границы, в месте, до которого можно было добраться, не преступая закона, и затем пересечь ее скрытыми тропами, скрытыми вдвойне и втройне из-за снегопадов, обильных в этих безмолвных местах. И вот, в самом начале нашего железнодорожного вояжа, нам с мамой пришлось ждать Себастьяна, который с самоотверженной помощью капитана Белова катил наш багаж от дома к вокзалу. По расписанию поезд отходил в 8.40 утра. Уже половина – и никаких признаков Себастьяна. Наш проводник был уже в поезде, спокойно сидел, читая газету; он предупредил маму, что заговаривать с ним на людях не следует ни при каких обстоятельствах, и по мере того как таяло время и поезд приготавливался к отправке, нас охватывало жуткое, цепенящее чувство страха. Мы понимали, что человек этот, по обыкновению своего цеха, нипочем не согласится повторить предприятие, провалившееся уже в начале. Мы также знали, что не сумеем еще раз осилить траты, связанные с побегом. Минуты шли, и я чувствовал, как что-то отчаянно екает у меня под ложечкой. Мысль, что через минуту-другую поезд тронется и нам придется вернуться на темный, холодный чердак (дом наш несколько месяцев как национализирова-

<sup>4</sup> Эта ужасная англичанка (франц.)

<sup>5</sup> Эта восхитительная женщина (франц.)

<sup>6</sup> Всего один маленький шлепок (франц.)

ли), терзала нас чрезвычайно. Дорогою на вокзал мы обогнали Белова и Себастьяна, толкавших по хрусткому снегу тяжело нагруженную тележку. Эта картина теперь недвижно стояла перед моими глазами (я был тринадцатилетним мальчиком с богатым воображением), как бы приговоренная волшебством к вечному оцепенению. Матушка, втянув руки в рукава, с клоком седых волос, выбившимся из-под шерстяного платка, сновала взад и вперед, пытаюсь поймать взгляд нашего проводника всякий раз, что проходила мимо его окна. Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Отправка поезда задерживалась, но вот свистнуло, тень горячего белого пара пронеслась по бурому снегу перрона, и в это же самое время показался бегущий Себастьян, наушники его меховой шапки летели по ветру. Втроем мы вскарабкались в уходящий поезд. Прошло какое-то время, прежде чем Себастьян сумел рассказать нам, что капитана Белова взяли на улице, как раз когда они проходили мимо его прежнего дома, а Себастьян, предоставив багаж его собственной участи, отчаянным рывком сумел достигнуть вокзала. Несколько месяцев спустя мы узнали, что бедного нашего друга расстреляли вместе с двумя десятками подобных ему и бок о бок с ним оказался Пальчин, встретивший смерть так же отважно, как и Белов.

В последней своей изданной книге, «Неясный асфодель» (1936), Себастьян выводит проходное лицо – человека, только что бежавшего из неназванной страны, полной ужасов и бедствий. «Что я могу сказать вам о своем прошлом, господа [говорит он]. Я родился в стране, где идея свободы, понятие права, обычай человеческой доброты холодно презирались и грубо отвергались законом. Порою в ходе истории ханжеское правительство красило стены национальной тюрьмы в желтенькую краску поприличнее и зычно провозглашало гарантии прав, свойственных более удачливым государствам; однако, либо от этих прав вкушали одни лишь тюремные надзиратели, либо в них таился скрытый изъян, делавший их еще горше установлений прямой тирании. <...> Каждый в этой стране был рабом, если не был погромщиком; а поскольку наличие у человека души и всего до нее относящегося отрицалось, причинение физической боли считалось достаточным средством для управления людьми и для их вразумления. <...> Время от времени случалось нечто, называемое революцией, и превращало рабов в погромщиков и обратно. <...> Страшная страна, господа, жуткое место, и если есть в этой жизни что-то, в чем я совершенно уверен, – это что я никогда не променяю свободы моего изгнания на порочную пародию родины...»

Из упомянутых мельком в речах этого персонажа «обширных лесов и покрытых снегом равнин» м-р Гудмен охотно выводит, что весь пассаж отвечает личному отношению Себастьяна Найта к России. Этот вывод нелеп, ибо для всякого непредубежденного читателя вполне очевидно, что процитированные слова относятся скорее к причудливой смеси тиранических бесчинств, нежели к какой-то частной нации или исторической действительности. И если я включил их в ту часть своего рассказа, где говорится о бегстве Себастьяна из революционной России, то лишь потому, что хотел привести следом за ними несколько высказываний, взятых из самой автобиографичной его книги: «Я всегда считал, – пишет он («Утерянные вещи»), – что одно из самых чистых чувств – это тоска изгоя по земле, в которой он родился. Мне хотелось бы показать его, до изнеможения напрягающим память в непрестанных усилиях сохранить живыми и яркими видения своего прошлого: незабвенные сизые взгорья и блаженные большаки, живую изгородь с ее неофициальной розой, поля с их зайцами, далекий шпиль и близкий колокольчик... Но поскольку этой темой уже занимались те, кто меня превосходит, и также оттого, что я обладаю врожденным недоверием ко всему, что мне представляется легким для выражения, никакому сентиментальному путешественнику не дозволено будет высадиться на скалах моей неприветливой прозы».

Чем бы ни завершался этот пассаж, очевидно, что лишь человека, знающего, каково это – покинуть любимую землю, могут так увлекать ностальгические картины. Мне невозможно поверить, что Себастьян, какой бы отвратительной стороной ни обернулась к нему Россия в пору нашего бегства, не испытывал тоски, которую испытали мы все. В конечном счете там был его дом и круг мягких, благожелательных, воспитанных людей, обреченных на смерть или изгнание за одно-единственное преступление – за то, что они существуют, – это был круг, к которому принадлежал и он тоже. Его сумрачные юношеские помыслы, его романтическая – и, позвольте добавить, отчасти искусственная – страсть к земле его матери не могли, я уверен в этом, изгнать подлинную любовь к стране, которая породила и вскор-

мила его.

Тихо прибившись к Финляндии, мы некоторое время жили в Гельсингфорсе. Затем наши пути разошлись. По совету одного старого друга матушка повезла меня в Париж, где я продолжил учебу. А Себастьян отправился в Лондон и Кембридж. От своей матери он унаследовал порядочное состояние, и какие бы тревоги в дальнейшем не одолевали его, денежных среди них не было. Перед тем, как ему уехать, мы присели втроем, чтобы помолчать минуту по русскому обычаю. Помню, как сидела матушка, сложив на подоле руки и покручивая отцовское обручальное кольцо (что она делала обыкновенно, когда ничем не была занята) она носила его на том же пальце, что и свое, хоть оно было так ей велико, что приходилось их связывать черной ниткой. Помню и позу Себастьяна: одетый в темно-синий костюм, он сидел, перекрестив ноги, чуть покачивая верхней. Первым поднялся я, потом он, потом матушка. Он взял с нас слово не провожать его на корабль, поэтому мы прощались здесь, в этой беленой комнатке. Матушка быстро перекрестила его склоненное лицо, и минуту спустя мы увидели в оконце, как он влезает с чемоданом в такси, в последней, сгорбленной позе отбытия.

Известия мы получали от него не часто, да и письма его не были очень пространными. За три кембриджских года он навестил нас в Париже дважды, а вернее сказать, единожды, потому что во второй раз приехал на матушкины похороны. Мы с нею часто о нем говорили, особенно в последние ее годы, когда она вполне сознавала, что конец ее близок. Она-то и рассказала мне о странном приключении Себастьяна в 1917 году, я ничего не знал о нем, потому что как раз то лето провел в Крыму. Себастьян, оказывается, подружился с поэтом-футуристом Алексисом Паном и с его женою, Ларисой, – причудливая пара снимала дачу поблизости от нашего поместья под Лугой. Пан был шумный, крепенький человечек с проблесками истинного таланта, скрытыми в путанном сумраке его виршей. И поскольку он изо всех сил старался ошарашить читателя чудовищным нагромождением лишних слов (он был изобретателем “заумной ворчбы”, так он это называл), основная его продукция кажется ныне такой никчемной, такой фальшивой и старомодной (сверхмодерные штучки имеют странное обыкновение устаревать гораздо быстрее прочих), что настоящее его значение ведомо теперь лишь горстке словесников, восторгающихся великолепными переводами английских стихов, сделанными им в самом начале его литературной карьеры, – по меньшей мере один из них являет собой истинное чудо переливания слова: это перевод из Китса – “La Belle Dame Sans Merci”<sup>7</sup>.

Итак, в одно из утр начала лета семнадцатилетний Себастьян исчез, оставив моей матери коротенькую записку, извещавшую, что он отправился с Паном и его женою в путешествие на Восток. Поначалу матушка сочла это шуткой (Себастьян при всей его угрюмости порой измышлял какую-нибудь неприятную забаву, как в тот раз, когда он в переполненном трамвае уговорил кондуктора передать девушке на другом конце вагона кое-как нацарапанную записку, в которой значилось: “Я всего только бедный кондуктор, но я Вас люблю”), однако, зайдя к Панам, она убедилась, что те и впрямь отбыли. Уже спустя какое-то время выяснилось, как представлял себе Пан это маркополово странствие: в виде неспешного смещения на восток, от одного провинциального города к другому, с произведением в каждом “лирической нежданности”, то есть с наймом зала (а если зала не будет, то и сарая) и устройством в нем поэтического представления, выручка от которого должна была позволить ему, жене и Себастьяну достичь следующего города. В чем состояли функции или обязанности Себастьяна, чем он им помогал, так и осталось неизвестным, – предполагалось, пожалуй, что он просто будет маячить поблизости, на подхвате, и угождать Ларисе, которая обладала горячим нравом и которую непросто бывало утихомирить. Алексис Пан обыкновенно появлялся на сцене в визитке, вполне приличной, кабы не вышитые по ней огромные лotosовые цветы. На лысом его челе было нарисовано созвездие (“Большой Пес”). Он декламировал свои творения громким и гулким голосом, который, изливаясь из такого маленького человечка, приводил на ум мышь, рожающую гору. Подле него на помосте сидела Лариса, крупная, лошадиного образа женщина в фиолетовом платье, и пришивала пуговицы

<sup>7</sup> Прекрасная дама, не знающая милосердия (франц.)

или латала старые штаны – смысл был тот, что она, мол, никогда ничего такого для мужа в повседневной жизни не делает. Время от времени, Пан исполнял между стихотворениями медленный танец – помесь яванской игры запястий с собственными ритмическими инвенциями. После чтения он славно надирался – это его и сгубило. Паломничество в Страну Востока завершилось в Симбирске, где в стельку пьяный Пан застрял без копейки в грязном трактире, а Лариса со своею гневливостью очутилась в участке, влепив оплеуху какому-то не в меру настырному чину, нелестно отозвавшемуся о шумном гении ее мужа. Себастьян вернулся домой – так же беспечно, как и ушел. “Любой другой, – добавила матушка, – имел бы довольно сконфуженный вид и немало стыдился этой дурацкой истории”, но Себастьян говорил о путешествии как о занятом случае, коего он был бесстрастный свидетель. Зачем он принял участие в этом нелепом балагане, и что, собственно, подружило его с той странной парочкой, так и осталось полной загадкой (матушка думала, что, может статься, Лариса его обольстила, но та была совершенно бесцветной женщиной, немолодой и бурно влюбленной в своего несуразного мужа). Вскоре они исчезли из жизни Себастьяна. Несколькими годами позже Пан вкусил в большевистской среде недолгой искусственной славы, вызванной, я думаю, дурацким представлением (основанным по преимуществу на смешении понятий) о существовании естественной связи между крайней политикой и крайним искусством. Затем, в 1922 или в 1923 году, Алексис Пан при помощи подтяжек покончил с собой.

“Мне всегда казалось, – говорила моя мать, – что, в сущности, я Себастьяна не знаю. Я знала, что у него хорошие отметки, что он прочел поразительное множество книг, что он опрятен, – настоял же он на том, чтобы принимать каждое утро холодную ванну, хоть у него и не очень здоровые легкие, – я знала все это и даже больше, но сам он от меня ускользал. А теперь он живет в другой стране и пишет к нам по-английски, и я поневоле думаю, что он так и останется загадкой, хотя, видит Бог, я старалась быть к мальчику доброй”.

Когда Себастьян, по завершении первого своего университетского года, посетил нас в Париже, меня поразил его иностранный вид. На нем был канареечно-желтый джемпер под твидовым пиджаком. Фланелевые брюки обвисали, сползали, не ведая о подвязках, носки. Галстук был в крикливых полосках, и по какой-то чудной причине носовой платок он носил в рукаве. Он курил на улице трубку, выбивая ее о каблук. У него образовалась новая привычка – стоять спиной к огню, глубоко засунув руки в карманы штанов. По-русски он говорил с опаской, прибегая к английскому, едва разговор касался чего-то требовавшего больше двух фраз. У нас он пробыл ровно неделю.

Когда он приехал снова, матушки уже не было в живых. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он неловко похлопал меня по плечу, когда случайный взгляд на ее очки, сиротливо лежавшие на полке, вызвал у меня приступ плача, от которого я до той поры все же смог воздержаться. Он был очень добр и участлив, но как-то издали, словно думал все время о чем-то другом. Мы поговорили о делах, он предложил поехать с ним на Ривьеру, а оттуда в Англию; я как раз закончил учебу. Я сказал, что предпочел бы остаться в Париже, у меня здесь много друзей. Он не настаивал. Коснулись мы и вопроса о деньгах, и он заметил в своей странно бесцеремонной манере, что в состоянии всегда предоставить мне сколько потребуется наличных, – по-моему, он употребил слово “монет”, но в этом я не уверен. На другой день он уезжал на юг Франции. Утром мы немного прощлись, и как обыкновенно случалось, когда мы оказывались наедине, я испытывал непонятную скованность, время от времени болезненно ловя себя на поисках темы для разговора. Он также молчал. Перед тем как расстаться, он сказал: “Ну, что же, такие вот дела. Если тебе что-то понадобится, напиши мне на лондонский адрес. Надеюсь, твоя Сорбонна (он произнес это слово на английский манер – “sore-bones”) окажется не хуже моего Кембриджа. И уж к слову, постарайся найти предмет себе по душе и держись за него – пока не прискучит”. Что-то слегка блеснуло в его темных глазах. “Удачи, – сказал он, – гляди веселей”, – и сжал мою руку неловко и вяло, по привычке, приобретенной в Англии. Вдруг, неведя почему, я ощутил страшную жалость к нему и стремление сказать что-то подлинное, с душою и крыльями, но птицы, потребные мне, опустились на мои плечи и голову лишь потом, когда я остался один и нужды в словах уже не испытывал.

## Глава 4

Два месяца минуло со дня смерти Себастьяна, когда была начата эта книга. Я отлично понимаю, как противны были бы ему мои сантименты, но должен все же сказать, что моя пожизненная привязанность к нему, которая так или иначе всегда подавлялась и пресекалась, обрела теперь новое бытие, вспыхнув с таким эмоциональным накалом, что все иные мои дела обратились в поблекшие силуэты. В редкие наши встречи мы никогда не говорили о литературе, и ныне, когда возможность какой-либо связи меж нами уничтожена странной привычкой людей – умирать, я отчаянно сожалею, что ни разу не сказал Себастьяну о том, какое наслаждение доставляли мне его книги. По правде, я теперь беспомощно гадаю, сознавал ли он, что я вообще их читал?

Но что же, собственно, знал я о Себастьяне? Я мог бы посвятить пару глав тому немалому, что запомнил из детства его и из юности, – а что дальше? По мере того, как я обдумывал книгу, становилось очевидным, что придется предпринять обширные разыскания, собирая его жизнь по кусочкам и скрепляя осколки внутренним пониманием его характера. Внутренним пониманием? Да, им я обладал, ощущая его каждой жилкой. И чем больше раздумывал я об этом, тем яснее понимал, что в руках у меня есть и иное орудие: представляя его поступки, о которых мне довелось услышать лишь после его кончины, я Наверное знал, что в том или в этом случае поступил бы в точности как он. Я видел однажды двух братьев, теннисных чемпионов, игравших друг против друга; у них были совсем разные стили, и один во много, много раз превосходил другого; но общий ритм их движений, когда они проносились по корту, был абсолютно тот же, и если б возможно было вычертить обе методы, получилось бы два тождественных чертежа.

Я осмеливаюсь утверждать, что у нас с Себастьяном также был своего рода общий ритм; им можно объяснить удивительное чувство “так уже было однажды”, которое охватывает меня, когда я слежу за изгибами его жизни. И если зачастую причины его поведения остаются сплошной загадкой, я нередко теперь обнаруживаю, что смысл их раскрывается в подсознательном повороте того или иного из написанных мной предложений. Это вовсе не означает, что я разделяю с ним некое духовное достояние, некие грани его таланта. Далеко не так. Его дар всегда казался мне чудом, ничуть не зависящим от каких бы то ни было частных впечатлений, которые оба мы могли получить в схожей обстановке нашего детства. Я мог видеть и помнить то, что видел и помнил он, и все же различие между его и моей способностями к выражению сравнимо с разницей между “Бехштейном” и детской погремушкой. Я никогда не допустил бы, чтобы ему на глаза попало даже самое краткое предложение из этой книги, зная, что он покривился бы, завидев, как я управляюсь с моим жалким английским. И как бы еще покривился. Я также не смею и вообразить, что сказал бы Себастьян, если б узнал, что его брат (литературный опыт которого сводился до сей поры к нескольким английским переводам, выполненным на потребу автомобильной фирмы) решил поступить на курсы “писательства”, жизнерадостно разрекламированные английским журналом. Да, я признаюсь в этом, – но не в том, что об этом жалею. Джентльмен, который за скромное вознаграждение должен был, предположительно, превратить меня в преуспевающего писателя, и впрямь не пожалел никаких усилий, чтобы обучить меня сдержанности и грациозности, силе и живости, и если я оказался скверным учеником, – хоть он и был слишком снисходителен, чтобы это признать, – то лишь потому, что меня в самом начале заворожила безупречная красота рассказа, присланного им в виде примера того, что способны создать и продать его ученики. Там среди прочего имелись: нехороший, злобно ворчащий китаец, храбрая кареглазая девушка и большой, спокойный малый, у которого, если его как следует разозлить, белели костяшки пальцев. Я воздержался бы от упоминания здесь об этой жутковатой истории, если б она не показывала, до какой степени я не был готов к выполнению своей задачи, и до каких несуразных крайностей довела меня робость. Когда я взялся наконец за перо, я изготавился встать лицом к лицу с неизбежностью, каковое выражение означает, собственно, что я решил постараться сделать все для меня посильное.

Есть во всем этом и еще одна скрытая мораль. Если бы такой же курс заочного обучения прошел Себастьян, – просто шутки ради, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет

(он ценил такие забавы), – он оказался бы невообразимо более скверным учеником, нежели я. Получив указание писать так, как пишет господин Заурядов, он стал бы писать, как никто никогда не пишет. Я не в состоянии даже скопировать его манеру, поскольку его прозаическая манера была манерой его мышления, а она являла собой череду ослепительных пропусков, пропуски же подделать невозможно, ведь пришлось бы так или иначе чем-то их заполнять, а значит – замазывать. Но когда в Себастьяновых книгах я встречаю какой-то оттенок настроения и впечатления, сразу заставляющий меня вспомнить, скажем, определенную игру света в определенном месте, которую мы оба подметили, не ведая один о другом, я ощущаю, что хоть у меня и на мизинец неостанется его таланта, все же есть между нами какое-то психологическое средство, и оно-то меня и вывезет.

Итак, орудие у меня имелось, оставалось воспользоваться им. Первый мой долг после смерти Себастьяна состоял в том, чтобы разобрать его личные вещи. Он оставил мне все, было у меня и письмо от него с распоряжением сжечь некоторые бумаги. Выражено оно было так туманно, что поначалу я полагал, будто речь идет о черновиках или брошенных рукописях, но вскоре обнаружилось, что за вычетом нескольких разрозненных страниц, затесавшихся среди прочих бумаг, он сам давным-давно их уничтожил, ибо принадлежал к редкой породе писателей, понимающих, что не следует сохранять ничего, кроме совершенного достижения: напечатанной книги; что истинное ее существование несовместимо с существованием ее фантома – неприбранного манускрипта, щеголяющего своими несовершенствами, словно мстительное привидение, что тащит подмышкой собственную голову; и что по этой причине сор мастерской, какой бы он ни обладал сентиментальной или коммерческой ценностью, не должен заживаться на этом свете.

Когда я впервые в жизни посетил квартирку Себастьяна в Лондоне, на Оук-Парк-Гарденз, 36, меня охватило ощущение пустоты, как будто я откладывал свидание, пока не стало слишком поздно. Три комнаты, холодный камин, тишина. В последние годы он жил здесь не часто, не здесь он и умер. Полдюжины костюмов, большей частью старых, висело в гардеробе, и на миг у меня возникло диковатое впечатление, будто тело Себастьяна размножилось в оцепенелой последовательности осанистых фигур. Вот в этом коричневом пиджаке я видел его однажды; я тронул рукав, но тот был вял и не откликнулся на робкий зов памяти. Тут были и туфли, прошедшие множество миль и ныне достигшие конца своего пути. Навзничь лежали сложенные сорочки. Что могли рассказать мне о Себастьяне эти притихшие вещи? Его кровать. Над ней на желтоватой стене картина маслом, слегка растрескавшаяся (грязная дорога, радуга, прелестные лужи). Первые краски его пробуждения.

Пока я осматривался, мне показалось, что вещи в спальне только-только, в самый последний миг, попрыгали по местам, словно застигнутые врасплох, и теперь отвечают мне несмелыми взглядами, пытаюсь понять, приметил ли я, как они виновато вздрогнули. Особенно отличалось этим низкое, в белом чехле кресло подле постели: я гадал, что бы оно такое украло. Порывшись в тайниках его складок, я нащупал что-то твердое: то был бразильский орех, – и кресло сложило ручки, вновь напустив на себя непроницаемый вид (выражавший, вероятно, презрительное достоинство).

Ванная комната. Стеклянная полка, голая, не считая пустой жестянки от талька, с фиалками, изображенными между ее покатыми плеч; одиноко стоит, отражаясь в зеркале, как на цветной рекламе.

Следом я осмотрел две главные комнаты. Столовая оказалась на удивление безликой, как и все места, где люди едят, – потому, быть может, что пища – главная наша связь с клубящимся вокруг грубым хаосом материи. Имелся, правда, в стеклянной пепельнице папиросный окурочек, но его оставил тут некий м-р Мак-Мат, жилищный агент.

Кабинет. Отсюда виден был парк или сад за домом, выцветающее небо, два ильма, – не дубы, обещанные именем улицы. В одном углу кабинета распростерся кожаный диван. Густо населенные книжные полки. Письменный стол. Почти ничего на нем: красный карандаш, коробочка со скрепками, – стол смотрит угрюмо и холодно, но лампа на западном его краю прекрасна. Я нащупал ее пульс, и опаловый глобус растворился в сиянии: эта волшебная луна видела, как движется белая рука Себастьяна. Вот теперь мне и точно предстояло заняться делом. Я вытащил завешанные ключи и отомкнул ящики.

Прежде всего я вынул две связки писем, на которых Себастьян надписал: уничтожить.

Одна была сложена так, что почерка я не увидел: чуть голубоватая, как скорлупка яйца, бумага с темно-синим обводом. В другой связке бумага разномастная, исписанная внятной женской рукой. Я догадался чьей. Одно отчаянное мгновение я одолевал искушение поближе изучить обе пачки. С прискорбием сообщаю, что лучший человек во мне победил. Но пока я жег их на каминной решетке, одна голубая страничка высвободилась, отшатнувшись от мучительного пламени, и прежде чем вкрадчивая чернота смяла ее, в полном блеске явились несколько слов, затем они обмерли, – и все было кончено.

Я опустил в кресло и просидел несколько минут, размышляя. Увиденные мною слова были русскими, частью русского предложения, – в сущности, незначительными по себе (не этих слов мог бы я ждать от пламени удачи, зажженного хитрым умыслом романиста). Слова были вот какие: “...твою манеру вечно выискивать...”, – меня поразил не смысл их, но то, что они на моем родном языке. Я не имел и отдаленнейшего представления, кем могла она быть, эта русская женщина, письма которой Себастьян хранил так близко от писем Клэр Бишоп, – и почему-то это меня смутило и встревожило. Из своего кресла у камина, снова черного и холодного, я видел веселый свет лампы на столе, яркую белизну бумаги, переливающейся через край открытого ящика, и листок, одиноко лежащий на синем ковре, наполовину в тени, диагонально разрезанный границей света. Мгновение я, казалось, видел и прозрачного Себастьяна, сидящего за столом; или, быть может, – подумал я, припомнив кусок о ложном Рокебрюне, – он предпочитал писать, лежа в постели?

Чуть погодя я продолжил мои занятия, просматривая и на глаз сортируя содержимое ящиков. Здесь было много писем. Их я откладывал, чтобы пересмотреть позднее. Вырезки из газет в безвкусном альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, ни одна из них не содержала рецензии на его книги: Себастьян был слишком тщеславен, чтобы их собирать, да и чувство юмора не позволило бы ему терпеливо наклеивать их, едва они попадутся под руку. И все-таки альбом с вырезками, как я сказал, имелся, все они относились (я уяснил это впоследствии, пролистав его на досуге) к несообразным и нелепым, словно во сне, происшествиям, случавшимся в обыкновеннейших обстоятельствах и местах. Смешанные метафоры тоже, насколько я понял, встречали его одобрение, ибо он, вероятно, относил их к той же слегка отдающей ночным кошмаром категории. Среди кое-каких юридических документов я обнаружил листок, на котором он начал рассказ, – всего одно предложение, оборванное, но позволившее мне увидеть странное обыкновение, присущее Себастьяну в процессе писания, – не вычеркивать слова, которые он заменял другими, так что, например, фраза, на которую я наткнулся, выглядела так: “Поскольку он был не дурак, Не дурак поспать, Роджер Роджерсон, старый Роджерсон купил старый Роджерс купил, потому как боялся. Будучи не дурак поспать, старый Роджерс до того боялся прозевать завтрашний день. Пospать он был не дурак. Он смертельно боялся прозевать завтрашнее событие триумф ранний поезд триумф и вот что он сделал он купил и отнес домой в купил в тот вечер и принес домой не один а восемь будильников разных размеров и силы стука девять восемь одиннадцать будильников разных размеров стук которых будильников девять будильников вот как у кошки девять которые он расставил от которых спальня его стала похожа на”

Жаль, что он остановился на этом.

Иностранные монеты в коробочке от шоколада: франки, марки, шиллинги, кроны – и мелкая сдача с них. Несколько самопишущих ручек. Восточный аметист без оправы. Круглая резинка. Стекланный патрончик с таблетками от головной боли, от нервных расстройств, невралгии, бессонницы, дурного сна, зубной боли. Зубная боль звучала довольно сомнительно. Старая записная книжка (1926), полная мертвых телефонных номеров. Фотографии.

Я подумал, что увижу множество девушек. Знаете, – улыбающиеся под солнцем, летние снимки, континентальные шалости тени, улыбающиеся на белом тротуаре, на песке, на снегу, – но я ошибся. Примерно две дюжины снимков, вытрясенных мной из большого конверта с лаконической надписью “М-р X.”, сделанной рукой Себастьяна, изображали одну и ту же особу в разные периоды жизни: вначале луноликий пострел в дурно сшитой матроске, потом противный отрок в крикетной кепочке, потом плосконосый юнец и так далее – вплоть до появления на снимках взрослого м-ра X. – довольно отталкивающего, бульдожьего типа мужчины, неуклонно полнеющего в мире фотографических задников и подлинных пали-



садников. Я понял, кто это, когда обнаружил газетную вырезку, прикрепленную к одному из снимков:

“Автору, пишущему выдуманную биографию, требуются фотографии джентльмена внушительной внешности, простого, степенного, непьющего, предпочтительно холостяка. Публикация фотографий, детских, юношеских, а также зрелого возраста в указанной книге будет оплачена”.

Этой книги Себастьян так и не написал, но, возможно, еще продолжал обдумывать ее в последний год своей жизни, потому что последнее фото м-ра Х., с радостным видом стоящего близ новенького автомобиля, носило дату “март 1935”, а Себастьян умер лишь год спустя.

Внезапно я почувствовал усталость и обиду. Мне требовалось лицо его русской корреспондентки. Мне требовались изображения самого Себастьяна. Мне требовалось многое... Тут, пока мой взгляд блуждал по комнате, я разглядел в неясных тенях над книжными полками две обрамленные фотографии.

Я встал и всмотрелся в них. Одна – увеличенный снимок голого по пояс китайца, которому лихо срубали голову, другая – банальный фотоэтюд: кудрявое дитя, играющее со щенком. Такое сопоставление отдавало, по-моему, сомнительным вкусом, впрочем, у Себастьяна были, вероятно, причины хранить их и именно так развесить.

Я взглянул и на книги, книг было много, потрепанных и разных. Хотя одна из полок казалась поаккуратнее прочих, и я отметил последовательность, на миг зазвучавшую неясной, странно знакомой музыкальной фразой: “Гамлет”, “Смерть Артура”, “Мост короля Людовика Святого”, “Доктор Джекилл и Мистер Хайд”, “Южный ветер”, “Дама с собачкой”, “Мадам Бовари”, “Человек-невидимка”, “Обретенное время”, “Англо-персидский словарь”, “Автор “Трикси”, “Алиса в Стране Чудес”, “Улисс”, “О покупке лошади”, “Король Лир”...

Мелодия выдохлась и заглохла. Я вернулся к столу и принялся разбирать отложенные письма. В основном – деловые, и я счел себя вправе их прочесть. Одни не относились к профессии Себастьяна, другие – относились. Беспорядок был изрядный, и многие намеки остались мне непонятны. Иногда он сохранял копии собственных писем, так что я, скажем, смог целиком ознакомиться с длинной и увлекательной перепалкой между ним и его издателем по поводу некоторой книги. Встречался какой-то нервный тип из Румынии, ни больше ни меньше, крикливо требующий предоставления... Я приобрел также сведения о продаже его книг в Англии и доминионах... Не так чтобы очень блестяще, но по крайней мере в одном случае цифры были более чем удовлетворительные. Несколько писем от дружественно настроенных литераторов. Один тихий беллетрист, автор единственной известной книги, выговаривал Себастьяну (4 апреля 1928 года) за “конрадность”, предлагая в будущих произведениях “кон” отставить, а “родство” развить, – редкой глупости мысль, по-моему.

Наконец в самом низу пачки я обнаружил письма от матушки и мои собственные, вместе с несколькими от его друзей по первым годам учебы; и пока я легко одолевал сопротивление их страниц (старые письма раздражаются, когда их раскрывают), меня вдруг осенило, где мне следует охотиться дальше.

## Глава 5

Университетские годы Себастьяна Найта не были особенно счастливы. Конечно, он упивался многим из найденного в Кембридже, – в сущности, его поначалу буквально ошеломляла возможность видеть, обонять, осязать страну, к которой он издавна стремился. Настоящий двухколесный хэнсом отвез его со станции в Тринити-колледж: казалось, до самой этой минуты экипаж ждал именно его, отчаянно противясь вымиранию, а после умиротворенно почил, воссоединясь с бакенбардами и “большим полупенсовиком”. Слякоть улиц, влажно отблескивающая в мгlistых потемках, вместе с обетованным ее контрапунктом – чашкой крепкого чаю и щедрым огнем камина – создавали гармонию, которую он, неведомо почему, знал наизусть. Чистый перезвон башенных часов, то повисающий над городом, то,

перемешиваясь, эхом отдающийся вдали, каким-то странным и страшно знакомым образом сливался с пронзительными выкриками продавцов газет. И когда он вступал в величаво нахмуренный Большой Двор, в туманах которого бродили призраки в плащах, и котелок швейцара нырял перед ним, Себастьян чувствовал, что он почему-то узнает каждое ощущение, – вездесущую вонь сыроватого дерна, древнюю гулкость каменных плит под каблуками, расплывчатые очертания темных каменных стен вверху – все. Это особое, приподнятое ощущение, вероятно, длилось немалое время, но было что-то еще, примешавшееся к нему, а там и возобладавшее. Против воли своей и, быть может, с чувством беспомощного замешательства (ибо он ждал от Англии больше, чем та была в состоянии дать) Себастьян сознавал, что как бы толково и сладко ни подыгрывал новый мир старинным его сновидениям, сам он, или скорее самая драгоценная его часть, останется столь же отчаянно одинокой, какой бывала всегда. Одиночество составляло тонику Себастьяновой жизни, и чем благожелательней старалась судьба дать ему ощущение дома, превосходно подделывая все то, что он полагал для себя желанным, тем острее сознавал он свою неспособность уютно вписаться – во что бы то ни было. Когда же, наконец, он понял это вполне и угрюмо принялся пестовать свою обособленность, словно она была редким даром или страстью, тогда только испытал Себастьян удовлетворение от ее обильного и чудовищного разрастания, перестав тревожиться о своей нескладной несовместимости, но это случилось гораздо позже.

Вначале он, видимо, страшно боялся сделать неверный шаг или, еще того хуже, – неловкий. Кто-то сказал ему, что жесткие уголки академической шапочки надлежит надломить, а то и вовсе изъять, оставив лишь квелую черную оболочку. Едва проделав это, он обнаружил, что впал в наихудшую “первокурсную” пошлость и что совершенство вкуса состоит в небрежении и шапочкой и плащом, которые носишь, сохраняя за ними безупречную внешность вещей незначущих, каковые в противном случае могли бы претендовать на какое-то значение. Или – шляпы и зонты запрещались в любую погоду, и Себастьян набожно мок и простужался, пока в один прекрасный день не познакомился с неким Д.В. Горжетом, обаятельным, ветреным, ленивым и беспечным молодым человеком, славным своими бесчинствами, изяществом и остроумием. Горжет преспокойно разгуливал в шляпе и при зонте. Пятнадцать лет спустя, когда я посетил Кембридж и услышал рассказ об этом от ближайшего университетского друга Себастьяна (ныне – прославленного ученого), я заметил, что, по-моему, сейчас уже каждый... “Вот именно, – сказал он. – Зонт Горжета дал потомство”.

– А скажите, – спросил я, – как обстояло дело со спортом? Хорошим спортсменом был Себастьян?

Мой собеседник улыбнулся.

– Боюсь, – ответил он, – что, если не считать весьма посредственного тенниса на изрядно подмокшем травяном корте с редкими маргаритками на самых крупных проплешинах, мы с Себастьяном по этой части не очень продвинулись. Помнится, ракета у него была необычайно дорогая, и фланелевый костюм был ему очень к лицу, – он вообще выглядел чрезвычайно опрятно, мило и все такое; но при этом подавал он дамским шлепком и слишком метался по корту, ни по чему не попадая, ну, а поскольку я был немногим лучше, наша игра в основном сводилась к тому, что мы разыскивали отсыревшие, испачканные зеленой мячи или перекидывали их игрокам на соседние корты, – все это под мелкой, настырной моросью. Нет, спортсменом он был явно неважным.

– Его это удручало?

– Ну, до известной степени. Собственно, весь первый семестр ему совершенно испортила мысль о его неполноценности по этой части. При знакомстве с Горжетом – оно состоялось в моей комнате – бедный Себастьян столько всего наговорил о теннисе, что Горжет наконец спросил, не та ли это игра, в которую играют клюшкой. Это отчасти утешило Себастьяна, он решил, что Горжет, который ему сразу понравился, тоже никудышный спортсмен.

– А оно действительно так и было?

– О нет, он-то как раз играл в университетской сборной по регби, но, возможно, лун-теннис его просто не увлекал. Как бы там ни было, Себастьян скоро избавился от своего спортивного комплекса. Да и в сущности говоря...

Мы сидели в тускло освещенной комнате с дубовыми панелями, в креслах, настолько низких, что мы без усилий дотягивались до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, витал над нами в отблесках огня, отраженных медными шишечками очага. Мой собеседник знал его так близко, что был, я думаю, прав, полагая основой Себастьянова чувства неполноценности его потуги перебританить Британию, всегда безуспешные и все повторявшиеся, пока наконец он не понял, что подводят его не внешние проявления, не манерности модного слэнга, но само его стремление быть как все, поступать как другие, между тем как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри себя самого.

И все-таки он изо всех сил старался стать образцовым первокурсником. В коричневом халате и старых лакированных туфлях, с мыльницей и губкой в мешке, он неспешно шагал зимними утрами в ванное заведение за углом. Он завтракал в Холле овсянкой, серой и скушной, как небеса над Большим Двором, и апельсиновым джемом – в точности того же оттенка, что ползучая поросль на его стенах. Он влезал на свой “самокат”, как назвал его мой собеседник, и закинув плащ за плечо, катил в тот или этот лекционный зал. Второй завтрак он съедал “Питте” (своего рода клуб, насколько я понял, и, верно, с портретами лошадей на стенах и с дряхлыми лакеями, задающими их извечную загадку: чистого или мутного?). Он играл в “файвс” (уж не знаю, что это такое) или в иную какую-то ручную игру, а после пил чай с двумя-тремя друзьями, и разговор его переходил, прихрамывая, от сдобных лепешек к курительным трубкам, предусмотрительно огибая всякий предмет, не затронутый собеседниками. Могла быть еще лекция-другая перед обедом, а после снова Холл, очень приятное место, мне его показали в надлежащее время. Там как раз подметали, и рука невольно тянулась пощекотать толстые, белые икры Генриха Восьмого.

– А где сидел Себастьян?

– Вон там, у стены.

– Это как же он туда попадал? Столы-то, пожалуй, в милю длиной.

– Обыкновенно влезал на внешнюю скамью и переходил по столу. При этом случалось наступить на чью-то тарелку, но таков уже был общепринятый способ.

Потом, после обеда, он возвращался к себе или, быть может, отправлялся с каким-либо молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где показывали фильму о Диком Западе, или Чарли Чаплин деревянной трусцой улепетывал от здоровенного негодяя, и его боком заносило на уличных углах.

Потом, после трех или четырех семестров в этом роде, странная перемена произошла с Себастьяном. Он перестал упиваться тем, чем считал себя обязанным упиваться, и невозмутимо обратился к тому, что его действительно занимало. Внешний результат перемены был таков: он выпал из ритма университетской жизни. Он ни с кем не видался, не считая моего собеседника, оставшегося, быть может, единственным в его жизни мужчиной, с которым он был совершенно искренен и естествен, – это была ладная дружба, и я вполне понимаю Себастьяна, ибо тихий словесник произвел на меня впечатление чистейшей и нежнейшей души, какую только можно вообразить. Обоих занимала английская литература, и друг Себастьяна уже обдумывал первый свой труд, “Законы литературного воображения”, который два-три года спустя принес ему премию Монтгомери.

– Должен признаться, – сказал он, поглаживая нежно-голубую кошку с серовато-зелеными очами, возникшую неизвестно откуда и теперь с удобством расположившуюся у него на коленях, – должен признаться, в эту пору нашей дружбы мне было нелегко с Себастьяном. Бывало, не увидев его на лекциях, я заходил к нему и находил его еще в постели, свернувшимся, как спящее дитя, но хмуро курящим, – подушка скомкана, вся в папиросном пепле, на простыне, свисающей до полу, чернильные кляксы. Он только хмыкал в ответ на мои бодрые приветствия, не снисходя даже до перемены позы, так что я, потоптавшись вокруг и уверившись, что он не заболел, отправлялся завтракать, а потом опять заходил к нему – лишь для того, чтобы обнаружить его лежащим на другом боку и приспособившим под пепельницу шлепанец. Я вызывался раздобыть ему какой-либо еды, в буфете у него всегда было шаром покати, и наконец, когда я приносил ему гроздь бананов, он оживлялся, словно мартышка, и немедленно принимался изводить меня туманно аморальными сентенциями касательно Жизни, Смерти или Бога, он смаковал их с особенным удовольствием, поскольку

знал, что они меня злят, – я, впрочем, никогда не верил, что он говорит это всерьез.

В конце концов, часа в три-четыре пополудни, он напяливал халат, переползал в гостиную, и тут я с отвращением покидал его скрючившимся у огня и скребущим голову. А назавтра, сидя у себя в норе и работая, я вдруг слышал гулкий топот на лестнице, и ко мне влетал Себастьян – ясный, свежий, возбужденный, с только что записанным стихотворением.

Все это, уверен, вполне отвечает истине, а одна подробность даже поразила меня и особенно тронула. Оказывается, английский язык Себастьяна, хотя и плавный и образный, решительно оставался английским иностранца. Его начальные “г” раскатывались и рокотали, он делал смешные ошибки, говорил, например, “I have seized a cold” или “that fellow is sympathetic”, разумея, что это славный малый. Он неправильно ставил ударения в таких словах, как “interesting”<sup>8</sup> или “laboratory”<sup>9</sup>. Он неверно выговаривал имена вроде “Socrates”<sup>10</sup> или “Desdemona”<sup>11</sup>. Однажды поправленный, он никогда ошибки не повторял, но сама неуверенность в некоторых словах ужасно его огорчала, он заливался краской, когда из-за случайной словесной оплошности какие-то его высказывания не воспринимались бестолковым слушателем. Писал он в ту пору много лучше, чем говорил, но и в стихах его сохранялось нечто неуловимо неанглийское. До меня ни одно из тех стихотворений не дошло. Правда, его друг полагал, что, быть может, одно или два...

Он спустил кошку на пол и порылся среди каких-то бумаг в столе, но выудить ничего не сумел.

– Может, в каком-нибудь сундуке, дома у сестры, – неопределенно сказал он, – но в общем-то я не уверен... Эти мелочи – всегдашние баловни забвения, да я к тому же и не сомневаюсь, что Себастьян приветствовал бы их утрату.

– А кстати, – сказал я, – прошлое выглядит в ваших воспоминаниях унылым и влажным, метеорологически говоря, – по сути дела, таким же унылым, как нынешняя погода (стоял холодный февральский день). Скажите, неужто в нем никогда не было солнца или тепла? Разве сам Себастьян не упоминает где-то о “розовых свечках огромных каштанов” вдоль берега какой-то чудесной реки?

Да, тут я прав, весна и лето случались в Кембридже почти ежегодно (это загадочное “почти” было на редкость приятным). Да, Себастьяну нравилось полеживать в плоскодонке, плывущей по Кему. Но больше всего любил он уезжать в сумерках на велосипеде по одной тропинке, юлившей в лугах. Там он садился на изгородь, смотрел на кудлатые, лососевые облака, наливавшиеся угрюмой медью в бледном вечернем небе, и думал. О чем? О девочке-простолюдинке с мягкими волосами, еще заплетенными в косы, которую он догнал однажды на выгоне и заговорил с ней, и поцеловал, и никогда больше не видел? О форме какого-то облака? О каком-нибудь мгlistом закате над черным русским ельником (о, как много я отдал бы, чтобы он вспомнил о нем!)? О внутреннем смысле звезды и травинки? О неведомом языке тишины? О страшной тяжести росинки? О надрывающей сердце красоте гладкого камушка среди миллионов и миллионов таких же камней, и в каждом свой смысл, но какой? Старый-престарый вопрос: кто ты? – обращенный к собственному “я”, обретающему в потемках странную уклончивость, и к Божьему миру вокруг, с которым никто так и не смог свести настоящего знакомства. А может быть, мы приблизимся к истине, предположив, что пока Себастьян сидел на той изгороди, в его сознании бушевала смута образов и слов, незавершенных образов и недостаточных слов, но он уже понимал, что в них и только в них подлинная его жизнь и что доля его лежит за призрачным полем боя, которое он в должное время еще перейдет.

– Нравились ли мне его книги? О да, чрезвычайно. Я не часто с ним виделся после то-

---

<sup>8</sup> Интересный (англ.)

<sup>9</sup> Лаборатория (англ.)

<sup>10</sup> Сократ (лат.)

<sup>11</sup> Дездемона (англ.)

го, как он уехал из Кембриджа, а книг своих он мне ни разу не прислал. Авторы, знаете ли, забывчивы. Но я как-то взял в библиотеке три из них и за столько же ночей прочел. Я всегда верил, что он создаст нечто превосходное, но никак не ждал, что это будет так превосходно. В последний свой год здесь... – не понимаю, что случилось с этой кошкой, похоже, она вдруг перестала узнавать молоко.

В последний свой год здесь Себастьян усердно занимался; его предмет – английская литература – был обширен и сложен; но это же самое время отмечено внезапными отлучками в Лондон – обыкновенно без ведома университетских властей. Его наставник, покойный м-р Джефферсон, был, как я узнал, прескучнейшим старым господином, но отличным лингвистом, упрямо считавшим Себастьяна за русского. Иными словами, он доводил Себастьяна до остервенения, пересказывая ему все русские слова, какие знал, – а он собрал их целую уйму во время давней своей поездки в Москву, – и упрямивая Себастьяна научить его каким-либо еще. Себастьян, наконец, выпалил, что тут-де какая-то ошибка, что на самом деле он родом не из России, а из Софии, отчего обрадованный старикан мгновенно заговорил по-болгарски. Себастьян неуклюже ответил, что этот диалект ему неизвестен, когда же от него потребовали предъявить образец, он не сходя с места соорудил новую идиому, долго занимавшую старого языковеда, – пока его не осенило, что Себастьян...

– Ну-с, похоже, вы меня выжали, – сказал, улыбаясь, мой собеседник. – Мои воспоминания становятся все пустяковее и глупее, – я думаю, вряд ли нужно добавлять, что Себастьян получил высший балл и что мы с ним сфотографировались во всей нашей красе, я как-нибудь попробую отыскать снимок и пришлю его вам, если желаете. Вы взаправду должны уже ехать? А в парк заглянуть не хотите? Пойдемте, навестим крокусы, Себастьян называл их “грибами поэтов”, если вы понимаете, что он имел в виду.

Но слишком обилен был дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца, и я сказал, что, пожалуй, пойду.

– О, погодите-ка, – окликнул меня друг Себастьяна, когда я уже запетлял между луж. – Совсем забыл вам сказать. Мастер говорил мне на днях, что кто-то написал к нему, освещаясь, правда ли, что Себастьян Найт учился в Тринити. Как же его имя? Вот незадача... Память совсем сселась от промывания. Что ж, мы ее знатно отполоскали, не так ли? Во всяком случае, я так понял, что кто-то собирает сведения для книги о Себастьяне Найте. Странно, не похоже, чтобы у вас мог быть --

– Себастьян Найт? – сказал внезапный голос в тумане. – Кто это тут говорит о Себастьяне Найте?

## Глава 6

Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился... Ах, как я томился порой по плавному ходу на славу смазанного романа! Как было б удобно, когда бы голос этот принадлежал бодрому старому преподавателю с длинными мочками пушистых ушей и сборочками у глаз, изобличающими юмор и умудренность... Подручный персонаж, долгожданный прохожий, он тоже знал моего героя, но с иной стороны. “А теперь, – молвил бы он, – я вам поведаю подлинную историю университетских лет Себастьяна Найта”. Да тут же бы и поведал. Но увы, ничего похожего на деле не случилось. Этот Голос в Тумане донесся из самых смутных закоулков моего разума. Он был лишь эхом какой-то возможной истины, своевременным напоминанием: не будь чересчур доверчив, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся и честнейшего из посредников. Помни, все, рассказанное тебе, в действительности тройко: скроено рассказчиком, перекроено слушателем и скрыто от обоих мертвым героем рассказа. Кто это тут говорит о Себастьяне Найте? – повторяет этот голос в моем сознании. А и вправду – кто? Лучший друг с единокровным братом. Тихий ученый, далекий от жизни, и стеснительный странник, навестивший дальнюю землю. А где же третий участник беседы? Мирно истлевают на кладбище в Сен-Дамье. Весело обитает в пяти томах. Незримый, вперяется через мое плечо, пока я это пишу (хотя, посмею сказать, слишком уж он сомневался в истасканной вечности, чтобы даже теперь уверовать в собственное привидение).

Как бы там ни было, я завладел добычей, которую смогла поделить со мною дружба.

К ней я присовокупил несколько разрозненных фактов, встреченных в очень коротких Себастьяновых письмах той поры, и случайные упоминания об университетском житье, рассеянные по его сочинениям. Затем я возвратился в Лондон и тщательно обдумал мой следующий ход.

В последнюю нашу встречу Себастьяну случилось упомянуть о своего рода секретаре, к услугам которого он время от времени прибегал между 1930 и 1934 годами. Подобно множеству авторов прошлого и малому числу настоящего (впрочем, мы, может статься, попросту не знаем о тех, кто не умел вести свои дела с достаточной хваткой и расторопностью), Себастьян был до смешного беспомощен по практической части и, раз отыскав советчика (который, кстати сказать, мог оказаться олухом или плутом или вместе тем и другим), он предался ему целиком и с величайшим облегчением. Наведайся я при случае, совершенно ли он уверен, что Такой-то, ныне правящий его дела, не является навязчивым проходимцем, он поспешил бы переменить разговор, до того им владела боязнь, что обнаружение чьих-то плутней может подтолкнуть к действию его леность. Словом, худшего из помощников он предпочитал никакому и убедил бы и себя самого, и других в совершенном довольстве собственным выбором. Высказав все это, я хотел бы со всей возможной определенностью подчеркнуть, что ни единое мое слово не является – в рассуждении закона – порочащим и что имя, которое я вот-вот назову, в этом абзаце названо не было.

В то время я желал получить от м-ра Гудмена не столько отчет о последних годах Себастьяна, – в нем я пока не нуждался (ибо намеревался шаг за шагом, не обгоняя, проследить его жизнь), – а просто несколько советов касательно того, с кем из знающих что-либо о послекембриджской жизни Себастьяна мне следует повидаться.

Итак, 1 марта 1936 года я посетил м-ра Гудмена в его конторе на Флит-стрит. Но прежде, чем описать нашу беседу, позвольте мне сделать короткое отступление.

Среди Себастьяновых писем я обнаружил, о чем уже говорилось, переписку между ним и издателем, относящуюся до определенного романа. Оказывается, один из второстепенных персонажей в первой книге Себастьяна “Призматический фацет” (1925) представляет собой очень смешную и злую пародию на некоторого ныне здравствующего автора, которого Себастьян счел необходимым высечь. Издатель, понятно, сразу его узнал и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну переделать весь связанный с ним кусок, но Себастьян наотрез отказался, заявив наконец, что издаст книгу еще где-нибудь, и со временем так и сделал.

“Вас, кажется, удивляет, – писал он в одном из писем, – что могло побудить меня, растущего автора (это Вы так выражаетесь, – однако такое выражение неуместно, ибо эти Ваши записные растущие авторы так до конца и остаются растущими, другие же, вроде меня, расцветают почти мгновенно); Вас, кажется, удивляет, позвольте мне повториться (что, впрочем, не является просьбой простить мне эту прустову вставку), с чего это мне вдруг приспичило сцапать приятного, голубоватого, ровно фарфор, современника (X. напоминает, не правда ли, те дешевые фарфоровые поделки, что навевают нам на благотворительных базарах мысли о разгромном разгуле) и сбросить его с замковой башни моей прозы напрямиком в сточную канаву внизу. Вы говорите мне, что все его ценят; что он продается в Германии едва ли не так же ходко, как здесь; что один его старый рассказ только что отобран для “Современных шедевров”; что вместе с Y. и Z. он считается одним из ведущих писателей “послевоенного поколения”; и что – последнее, но не самое малое, – он опасен как критик. Похоже, Вы намекаете, что всем нам следует хранить темную тайну его успеха – сиречь его умение ездить вторым классом с билетом в третий – или, если мое сравнение недостаточно ясно, – потакать вкусам наихудшей разновидности читающей публики: не тех, кто с удовольствием кормится детективными побасенками, да будут блаженны их чистые души, но тех, кто покупает паршивейшую пошлятину, поскольку их, видите ли, на современный лад будоражат фрейдовы приправы, или “поток сознания”, или еще какая-то дребедень, и кто поэтому не понимает и никогда не поймет, как циничны сегодня племянницы Марии Корелли и племянники старенькой миссис Гранди. Однако чего ради нам оберегать его стыдную тайну? Что за масонская порука в тривиальности, – а по сути, в троеубожии? Долой этих поддельных богов! Но вот появляетесь Вы и говорите, что моя “литературная карьера” будет непоправимо загублена в самом начале наскоками на влиятельного и почитаемого пи-

сателя. Однако даже если бы существовала такая штука, как “литературная карьера”, и меня бы дисквалифицировали только за то, что я выехал на собственной лошади, я все равно отказался бы изменить и единое слово в том, что мною написано. Ибо, поверьте, никакое неотвратимое наказание не может быть достаточно сильным, чтобы заставить меня прекратить погоню за наслаждением, особенно, когда наслаждением этим манит меня упругое, юное лоно истины. Право, в жизни мало что может сравниться с восторгом сатиры, и когда я воображаю лицо этого надувалы, читающего (а уж он его прочитает) то самое место и сознающего, как сознаем и мы оба, что все в нем – чистая правда, восторг мой достигает сладчайшего разрешения. Позвольте еще прибавить, что я прилежно отобразил не только внутренний мир м-ра Х. (каковой есть не что иное, как станция подземки в часы давки), но также и вычуры его речей и повадки, и я решительно отрицаю, что он или кто-то иной из читателей сможет найти малейшую грубость в пассаже, столь Вас встревожившем. Так пусть же он Вас больше не тревожит. Помните также, что всю ответственность, моральную и коммерческую, я принимаю на себя, – это на случай, если у Вас и впрямь “возникнут сложности” с моим невинным томиком”.

Я процитировал это письмо ради того (хотя оно ценно и само по себе, показывая нам Себастьяна в мальчишески-веселом расположении, которое сохранилось позже лишь в виде радуги, рассекавшей грозную угрюмость самых пасмурных его повестей), чтобы поставить довольно деликатный вопрос. Через минуту-другую во плоти и крови объявится м-р Гудмен. Читателю ведомо уже, как глубоко противна мне книга этого господина. Однако в пору нашей первой (и последней) беседы я ничего не знал о его труде (насколько дозволено называть трудом торопливую компиляцию). Я пришел к м-ру Гудмену с открытой душой; ныне она уже не открыта, что, натурально, не может не повлиять на мое описание. В то же время мне не очень понятно, как бы я смог рассказать о своем визите к нему, не коснувшись, хотя бы с тою же сдержанностью, что и в отношении кембриджского друга Себастьяна, повадок, если уж не внешности м-ра Гудмена. Удастся ли мне остановиться на них? Не выскочит ли внезапно физиономия м-ра Гудмена, к правой досаде ее обладателя, при чтении этих строк? Я изучил письмо Себастьяна и пришел к заключению: все, что позволил себе Себастьян Найт в отношении м-ра Х., для меня, применительно к м-ру Гудмену, недопустимо. Я лишен прямоты Себастьянова дара и преуспею лишь в грубости там, где ему довелось блеснуть. Итак, я вступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет м-ра Гудмена, шагать осмотрительно.

– Прошу присесть, – сказал он, вежливо смахивая меня в кожаное кресло подле стола. Одет он был превосходно, впрочем, с явным конторским привкусом. Лицо покрывала черная маска. – Чем могу быть полезен? – Продолжая держать мою карточку, он смотрел на меня сквозь глазные отверстия.

Я вдруг сообразил, что мое имя ничего ему не говорит. Фамилия матери окончательно срослась с Себастьяном.

– Я брат Себастьяна Найта, – ответил я. Повисла короткая пауза.

– Виноват, – сказал м-р Гудмен, – должен ли я понимать так, что вы говорите о покойном Себастьяне Найте, известном писателе?

– Именно так, – сказал я.

Пальцы м-ра Гудмена, указательный и большой, поехали по лицу... я разумею лицо под маской... съезжая все ниже, ниже: он размышлял.

– Прошу меня простить, – сказал он, – но совершенно ли вы уверены, что тут нет никакой ошибки?

– Ни малейшей, – ответил я и как можно короче разъяснил свое родство с Себастьяном.

– Ах, вот оно что! – сказал м-р Гудмен, впадая все в большую задумчивость. – Верно, верно, это мне в голову не пришло. Я, разумеется, отлично знал, что Найт родился и вырос в России. Но насчет фамилии я как-то не сообразил. Да, теперь понимаю... Ну да, она и должна быть русской... Его мать...

С минуту м-р Гудмен барабанил пальцами, тонкими и белыми, по страничке блок-нота, потом мелко вздохнул.

– Ну, сделанного не воротишь, – заметил он. – Добавлять уже поздно... Я хочу сказать,

– торопливо продолжил он, – что сожалею о том, что не вник в это раньше. Так вы его брат? Что ж, очень рад познакомиться.

– Прежде всего, – сказал я, – мне хотелось бы уяснить деловые вопросы. Бумаги мистера Найта, во всяком случае те, что относятся к его литературным занятиям, не в самом лучшем порядке, так что я не знаю в точности, каково положение дел. Я еще не встретился с его издателями, но по моим сведениям по крайней мере одного издательства – того, что выпустило “Потешную гору”, – больше не существует. Я решил, что прежде, чем углубляться в суть дела, мне стоит переговорить с вами.

– Весьма разумно, – сказал м-р Гудмен. – Фактически – вы, вероятно, не осведомлены об этом, – я владею долями в двух книгах Найта, в “Потешной горе” и “Утерянных вещах”. В настоящих обстоятельствах для меня самое правильное – сообщить вам кое-какие подробности, завтра утром я отошлю их вам письмом вместе с копией моего контракта с мистером Найтом. Или мне следует называть его мистером... – и, улыбнувшись под маской, м-р Гудмен попытался выговорить нашу простую русскую фамилию.

– Тогда о другом, – продолжал я. – Я решил написать книгу о его жизни и работе и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы...

Мне показалось, что м-р Гудмен закован. Погода он разок-другой кашлянул и даже выудил из ящичка, стоявшего на его изысканного вида письменном столе, черносморозиную пилюлю от кашля.

– Дорогой сэръ, – сказал он, внезапно крутанувшись вместе с креслом и раскрутив на тесемке монокль, – давайте говорить со всей откровенностью. Определенно, я знал несчастного Найта лучше, чем кто-либо, и однако же... слушайте, вы уже начали писать эту книгу?

– Нет, – сказал я.

– Вот и не начинайте. Вы уж меня простите за такую прямоту. Старая привычка – дурная привычка, быть может. Вы ведь не против, нет? Так вот, что я хочу сказать... как бы это вам выразить?... Видите ли, Себастьян Найт не был, что называется, великим писателем... О да, я понимаю, – тонкий художник и прочее, но обыкновенную публику этим не возьмешь. Я не хочу сказать, что про него нельзя написать книгу. Написать-то можно. Но тогда уж надо ее писать под особым углом зрения, чтобы сделать предмет привлекательным. Иначе она непременно провалится, потому что, видите ли, я лично не думаю, что известности Себастьяна Найта хватит, чтобы подпереть ею затею вроде вашей.

Я настолько был взят врасплох этой вспышкой, что сидел, безмолвствуя. А м-р Гудмен продолжал.

– Надеюсь, вас не обидела моя прямота. Мы с вашим братом были большие приятели, так что вы поймете мои чувства. Не стоит, мой дорогой сэръ, не стоит. Вы изложите вашу идею любому профессионалу, знающему книжный рынок, и он вам скажет: всякий, кто попробует составить исчерпывающее исследование жизни и работы, как вы выражаетесь, Найта, только зря время потратит – и свое, и читателя. Чего уж там, даже книга Имярека о покойном... (была упомянута знаменитость) со всеми ее фотографиями и факсимиле, и та не пошла.

Я поблагодарил м-ра Гудмена за совет и потянулся за шляпой. Я чувствовал, что совершил промах, обратившись к нему, что пошел по ложному следу. Отчего-то я не испытывал желания подробно выспрашивать его о тех временах, когда он и Себастьян были “большие приятели”. Теперь я гадаю, что бы он мне наболтал, уприси я его порассказать о своем секретарстве. Сердечнейшим образом пожав мою руку, он отобрал у меня черную маску, которую я засунул в карман, полагая, что она может еще мне пригодиться при иной какой-то оказии. Он проводил меня до ближайшей стеклянной двери, и у нее мы расстались. Я уже начал было спускаться по лестнице, как решительного вида девица, несколько раньше виденная мною за машинкой в одной из комнат, нагнала и остановила меня (занятно – вот и кембриджский друг Себастьяна тоже не дал мне сразу уйти).

– Меня зовут Элен Пратт, – сказала она. – Я подслушала, что смогла, из вашего разговора, и у меня есть к вам просьба. Клэр Бишоп – моя близкая подруга. Ей нужно кое-что выяснить. Можно мне будет поговорить с вами на днях?

Я сказал: “Да, конечно”, и мы назначили время.

– Я хорошо знала мистера Найта, – прибавила она, глядя на меня круглыми, яркими



глазами.

– Вот как, – пробормотал я, не найдясь, что сказать другого.

– Да, – продолжала она, – он был удивительный человек, и я вам выразить не могу, до чего мне гадка гудменовская книга о нем.

– Что вы? – спросил я. – Какая книга?

– Да вот эта, которую он только что написал. Мы ее вместе считывали на прошлой неделе. Ну ладно, я побежала. Большое вам спасибо.

Она унеслась, и очень медленно я стал сходить по ступеням. Большое, мягкое, красноватое лицо м-ра Гудмена обладало – и обладает – поразительным сходством с коровьим выменем.

## Глава 7

Книга м-ра Гудмена “Трагедия Себастьяна Найта” получила прекрасную прессу. В ведущих поденных и понедельных изданиях ей посвящались пространные отклики. Ее называли “впечатляющей и убедительной”. Автору ставили в заслугу “полноту проникновения” в “глубоко современный” характер. Цитировались места, показывающие как сноровисто он колет пустые орехи. Один критик зашел даже так далеко, что снял шляпу перед м-ром Гудменом, который, добавим, пользовался своей в основном для того, чтобы постоянно на нее садиться. Словом, м-ра Гудмена похлопывали по плечу, хотя ему следовало бы дать по рукам.

Что до меня, я вообще оставил бы эту книгу без внимания, будь она просто еще одной дурной книгой, обреченной с прочими ее товарками на забвение к следующей весне. Летейская библиотека при всей неисчислимости ее томов останется, конечно, прискорбно неполной без стараний м-ра Гудмена. Но как ни дурна его книга, в ней есть и еще кое-что. Незаурядность предмета вполне механически обращает ее в спутницу выносливой славы другого человека. Сколько ни будет памятно имя Себастьяна Найта, всегда отыщется ученый вопрошатель, добросовестно лезущий по стремянке туда, где “Трагедия Себастьяна Найта” стоит в полудреме между “Падением человека” Годфри Гудмена и “Воспоминаниями о прожитом” Сэмюэля Гудрича. Следственно, если я продолжаю о ней толковать, я это делаю ради Себастьяна Найта.

Метод м-ра Гудмена незатейлив, как и его философия. Единственная цель у него – показать “несчастливого Найта” как продукт и жертву того, что он именует “нашим временем”, хотя почему иным людям так не терпится принудить других разделить их хронометрические концепции, для меня всегда оставалось загадкой. “Послевоенное смятение”, “послевоенное поколение” – это для м-ра Гудмена волшебные слова, открывающие всякую дверь. Существует, однако ж, “сезам отворись”, коего чары, по-видимому, уступают чарам обыкновенной отмычки, и боюсь, что “сезам” м-ра Гудмена как раз этого толка. Впрочем, м-р Гудмен весьма ошибается, думая, что стоит ему взломать замок, как он сразу что-то найдет. То есть я не хочу сказать, что м-р Гудмен думает. Он бы этого не сумел, даже если бы постарался. В своей книге он касается только тех идей, притягательность коих для заурядных умов вполне установлена (коммерческим способом).

Для м-ра Гудмена молодой Себастьян Найт, “только что выпорхнувший из резного кокона Кембриджа”, – это остро чувствующий юноша в жестоком, холодном мире. В этом мире “внешние реалии столь грубо вторгаются в сокровеннейшие сны человека”, что юная душа поневоле попадает в осаду – перед тем, как окончательно пасть. “Война, – сообщает м-р Гудмен, даже не зарумянившись, – изменила лик вселенной”. И с немалым пылом он принимается описывать те особые стороны послевоенной жизни, с которыми молодой человек столкнулся “на тревожной заре своей карьеры”: ощущение некоего огромного обмана; душевная усталость и лихорадочное физическое возбуждение (пример: “вялое распутство фокстрота”); ощущение пустоты – и его результат: вопиющая распущенность. А также жестокость; запах крови еще носится в воздухе; сверканье кинематографических чертогов; смутные пары в мутном Гайд-парке; триумфы стандартизации; культ машин; деградация Красоты, Любви, Чести, Искусства... и так далее. Просто чудо, что сам м-р Гудмен, сверст-

ник Себастьяна, насколько я знаю, смог пережить эти страшные годы.

Но то, что сумел снести м-р Гудмен, не вынес, как видно, его Себастьян Найт. Нам предьявляют изображение Себастьяна, в смятении меряющего шагами свою лондонскую квартиру в 1923 году, после короткой поездки на континент, каковой континент “неописуемо ужаснул его скверным сверканьем своего игорного ада”. Да, “вышагивающий взад и вперед... стискивая виски... в муках неудовлетворенности... озлобленный на весь свет... одинокий... снедаемый желанием сделать что-нибудь, но слабый, слабый...” Точками обозначены не тремоло м-ра Гудмена, а сентенции, которые я из человеколюбия опустил. “Нет, – продолжает м-р Гудмен, – это был не тот мир, в котором смог бы жить художник. Щеголять отважной невозмутимостью, выставлять напоказ цинизм, который так раздражает в ранних произведениях Найта и так удручает в двух его последних книгах... выглядеть презрительным и сверхумудренным – все это было прекрасно, но жало застряло, ядовитое, острое жало”. Не знаю отчего, но наличие этого (совершенно мифического) жала, похоже, приносит м-ру Гудмену мрачное удовлетворение.

Я был бы несправедлив, если бы представил эту, первую, главу “Трагедии Себастьяна Найта” только в виде густого потока философической патоки. Образные описания и анекдоты, составляющие главную часть книги (то есть ту, в которой м-р Гудмен выходит на сцену Себастьяновой жизни, лично с ним познакомившись), высовываются и тут, словно куски бисквита из сиропа. М-р Гудмен – не Босуэлл; все же и у него, несомненно, имелась записная книжка, куда он заносил замечания своего нанимателя, – и, видимо, какие-то из них относились к его нанимателя прошлому. Иными словами, нам полагается вообразить, что Себастьян, отрываясь от работы, произносил: “Вы знаете, милый Гудмен, это напоминает мне один день моей жизни, несколько лет назад, когда...” Засим следовала история. Полудюжины этих историй достаточно, как представляется м-ру Гудмену, для заполнения того, что осталось для него белым пятном, – английской юности Себастьяна.

Первая из историй (которую м-р Гудмен полагает весьма типичной для “послевоенной жизни студенчества”) рисует Себастьяна, показывающего лондонской приятельнице достопримечательности Кембриджа. “А это окно декана, – говорит он; затем, разбив камнем стекло, добавляет: – А это сам декан”. Нечего и говорить, что Себастьян натянул м-ру Гудмену нос: анекдот этот стар, как сам Университет.

Рассмотрим вторую. Как-то ночью во время краткой каникулярной поездки в Германию (1921? 1922?) Себастьян, разъяренный кошачьим концертом на улице, стал швырять в нарушителей тишины разного рода предметы, включая сюда и яйцо. Погодя в дверь постучал полицейский, который принес обратно все эти предметы за исключением яйца.

Это из старой (или, как сказал бы м-р Гудмен, “предвоенной”) книжки Джерома К. Джерома. М-ра Гудмена снова дернули за нос.

История третья: Себастьян, рассказывая о своем самом первом романе (неизданном и уничтоженном), поясняет, что речь в нем шла о молодом толстом студенте, который, приехав домой, узнает, что его мать вышла замуж за его же дядю; этот самый дядя, ушной специалист, погубил студентова отца.

М-р Гудмен шутки не понял.

Четвертая: летом 1922 года Себастьян переутомился и, страдая галлюцинациями, часто видел своего рода оптическое привидение: с неба к нему быстро спускался монах в черной рясе.

Это немного труднее: рассказ Чехова.

Пятая:

Однако мне кажется, лучше остановиться, или иначе м-р Гудмен рискует обратиться в слона. Оставим его муравьедом. Мне его жаль, но тут уже ничем не можешь. И хоть бы он не раздувал, не комментировал эти “удивительные происшествия и фантазии” так важно, с такой обильной жатвой умозаключений! Колючий, капризный, обезумевший Себастьян в схватке с горестным миром Геростратов, стратостатов, плутократов и пустохватов... Как же, как же, тут непременно что-нибудь да есть.

Я хочу быть точным в научном смысле этого слова. Я не могу позволить себе проглядеть малейшую частицу истины лишь потому, что в какой-то миг моих изысканий меня ослепил гнев, вызванный низкопробной стряпней... Кто это тут говорит о Себастьяне Найте?

Прежний его секретарь. Были они друзьями? Нет, – и мы это еще увидим. Есть что-нибудь действительное или возможное в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна порочному, усталому миру? Ничего. Быть может, имелся иной какой-то разрыв, разлом, разлад? О да.

Достаточно пролистать первые тридцать примерно страниц “Утерянных вещей”, чтобы убедиться, до какой степени безмятежно непонимание м-ром Гудменом (который, к слову, не цитирует ничего, что шло бы вразрез с основной идеей его напрасного опуса) внутреннего отношения Себастьяна к внешнему миру. Время никогда не являлось для Себастьяна 1914-м или 1920-м, или 1936-м годом – это всегда был год 1-й. Заголовки газет, политические теории, модные идеи значили для него не больше чем словообильные уведомления, оттиснутые (на трех языках с ошибками минимум в двух) на обертке какого-нибудь мыла или зубной пасты. Пена могла оказаться густой, уведомление убедительным, – но более тут говорить было не о чем. Он вполне мог понять впечатлительных и проникновенных мыслителей, не способных уснуть по причине землетрясения в Китае, но, будучи тем, кем был, он не мог взять в толк, почему эти же самые люди не испытывают столь же бурного приступа горя при мысли о подобном бедствии, случившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время, пространство для него были мерками одной и той же вечности, так что само представление о нем, реагирующем каким-то особо “современным” манером на то, что м-р Гудмен именуется “атмосферой послевоенной Европы”, просто бред. Он был вперемешку счастлив и удручен в мире, в который пришел, – вот как путешественник может восторгаться видами, почти одновременно мучась морской болезнью. В каком бы веке ни выпало Себастьяну родиться, он равно бы веселился и печалился, радовался и тревожился, словно ребенок в цирке, вспоминающий временами о завтрашнем походе к дантисту. Причина же его неприкаянности состояла не в том, что он был нравственным человеком в безнравственном мире или безнравственным – в нравственном, и не в стесненных чувствах юности, не сумевшей достаточно естественно расцвести в мире, ставшем слишком поспешной чередой фейерверков и похорон; она состояла попросту в понимании того, что ритм его внутреннего бытия намного богаче, чем ритм всякой иной души. Даже тогда, по завершении кембриджской поры, – а может статься, и раньше, – он сознавал, что малейшая его мысль или ощущение содержат на одно измерение больше, чем мысль или ощущение ближнего. Он мог возгордиться этим, присутствуй в его натуре хоть что-то трагическое. Поскольку же ничего такого в ней не было, ему оставалось лишь испытывать неловкое чувство кристалла среди стекляшек, шара среди кругов (но все это пустяки в сравнении с тем, что он испытал, когда наконец вступил на литературное поприще).

“Я был, – пишет Себастьян (в “Утерянных вещах”), – застенчив настолько, что всегда умудрялся неведомо как совершить тот самый промах, которого пуще всего норовил избежать. В моем губительном стремлении слиться с окружением я походил, пожалуй, на хамелеона-дальтоника. Застенчивость моя переносилась бы легче – и мною, и другими, – будь она обычного потливо-прыщавого сорта: многие юноши через это проходят, и никто особенно не возражает. Но у меня она обрела черты болезненной тайны, ничего не имеющей общего со спазмами созревания. Среди самых банальных выдумок пыточного застенка есть одна, состоящая в том, что узника лишают сна. Люди в большинстве своем проживают день с какой-то частью рассудка, погруженной в блаженную спячку: голодного человека, поедającego бифштекс, интересуется еда, а, скажем, не сон об ангелах в цилиндрах, который привиделся ему лет семь назад; в моем случае все веки, дверки и створки сознания открывались сразу и во всякое время суток. У большинства людей мозг имеет свои выходные, моему же было отказано и в сокращенном рабочем дне. Такое состояние постоянного бодрствования чрезвычайно мучительно и само по себе, и по прямым его результатам. Каждое пустяковое дело, которое, между прочими, предстояло мне совершить, принимало столь причудливое обличье, пробуждало в моем уме такую массу ассоциативных идей, причем эти ассоциации были настолько запутанны и темны, до такой степени бесполезны в практическом смысле, что я либо сбывал это дело с рук, либо из чистой нервозности приводил его в состояние полной неразберихи. Когда однажды утром я пришел к редактору журнала, способному, как я полагал, напечатать некоторые из моих кембриджских стихотворений, то свойственное ему особое заикание, мешаясь с некоторым сочетанием углов в рисунке ды-

моходов и крыш, чуть перекошенных изъязном оконного стекла, – это и странный, затхло-ватый запах в комнате (роз, догнивающих в мусорной корзинке?) отправили мои мысли по такому дальнему и кружному пути, что я, вместо того, о чем намеревался говорить, начал вдруг рассказывать этому человеку, которого и видел-то впервые, о литературных планах нашего общего знакомого, просившего меня – я слишком поздно вспомнил об этом – сохранить их в тайне...

...Зная опасные причуды моего сознания, я боялся встречаться с людьми, опасаясь оскорбить их чувства или стать посмешищем в их глазах. Но это же качество или изъян, так терзавший меня при столкновении с тем, что называют практической стороной жизни (хотя, между нами, торговые книги и книготорговля выглядят при свете звезд удивительно нереальными), обращалось в инструмент утонченного наслаждения всякий раз, что я уступал моему одиночеству. Я был страстно влюблен в страну, ставшую мне домом (насколько моя природа способна освоить представление о доме); у меня случались свои кипплинговские настроения, настроения в духе Руперта Брука и Хаусмана. Собака-поводырь около “Хэрродз'а” или цветные мелки панельного живописца; бурые листья аллеи в Нью-Форест или цинковый таз, вывешенный в трущобах на черной кирпичной стене; картинка в “Панче” или витиеватый пассаж в “Гамлете” – все сходилось в строгую гармонию, где и для меня отыскивалась тень места. Память о Лондоне моей юности – это память о бесконечных, бесцельных блужданиях, об ослепленном солнцем окне, внезапно пробившем утренний синий туман, или о черных чудесных проводах с бегущими вдоль них подвесками капель. Как будто я, неслышно ступая, иду сквозь призрачные лужайки и дансинги, полные взвизгов гавайской музыки, спускаюсь по славным грязно-коричневым улочкам с милыми именами и в конце концов попадаю в какую-то теплую полость, где нечто, страшно похожее на мое сокровенное “я”, сидит, свернувшись калачиком, в темноте...”

Жаль, что м-р Гудмен не удосужился поразмыслить над этими строками, хоть и сомнительно, чтобы ему удалось понять их внутренний смысл.

Он был настолько любезен, что прислал мне экземпляр своего изделия. В сопроводительном послании он объяснял в тяжеловесно-шутливых тонах (предназначенных изобразить – на письме – добродушное подмигивание), что если он и не упомянул о книге в ходе нашей беседы, то лишь потому, что желал поднести мне великолепный сюрприз. Его тон, его хохоток, его напыщенное остроумие – все приводило на ум старого, грубоватого друга семьи, явившегося с драгоценным подарком для самого маленького. Но м-р Гудмен – не очень хороший актер. В сущности, он ни секунды не думал, что я порадуюсь книге, написанной им, или хотя бы тому, что он из кожи вон лез ради прославления имени члена моей семьи. Он знал, и знал всегда, что книга его – хлам, знал, что ни ее переплет, ни обложка, ни рекламная болтовня на обложке да и никакие отклики и объявления в прессе меня не обманут. Почему он почел за разумное держать меня в неведении, – не вполне очевидно. Возможно, он полагал, что я могу, раззадорившись, в один присест накатать собственный том, как раз поспев столкнуться этот том с его.

Он, впрочем, прислал мне не только книгу. Он разрешился также обещанным отчетом. Здесь не место вдаваться в эти материи. Я передал его отчет моему поверенному, и тот уже ознакомил меня со своим заключением. Здесь довольно будет сказать, что практической непорочностью Себастьяна злоупотребили самым непристойным образом. Никогда м-р Гудмен не был порядочным литературным агентом. В лучшем случае он ставил на книгу, словно на лошадь. Его невозможно по праву причислить к интеллигентным, честным и тяжело трудящимся людям этой профессии. На том и оставим его; однако я еще не покончил с “Трагедией Себастьяна Найта”, или, скорее, – с “Фарсом м-ра Гудмена”.

## Глава 8

Два года прошло после смерти матушки, прежде чем я снова увидел Себастьяна. Одна почтовая открытка – вот все, что я за это время получил от него, не считая чеков, которые он настойчиво мне высылал. Скучным и тусклым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским полям к площади Этуаль и вдруг за стеклянным фасадом модного кафе

углядел Себастьяна. Помню, первым моим побуждением было – так и идти своей дорогой, до того огорчило меня неожиданное открытие, что, появившись в Париже, он не связался со мной. Все же, поразмыслив, я вошел внутрь. Я увидел лоснистый, темный затылок Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидевшей насупротив него. Она читала письмо, которое, когда я подошел, с легкой улыбкой ему возвратила, сняв роговые очки.

– Роскошно, а? – спросил Себастьян, и в этот же миг я положил ладонь на его худое плечо.

– О, привет В., – сказал он, глянув вверх. – Это мой брат – мисс Бишоп. Садись, располагайся поудобней.

Она была неброско хороша: бледная, чуть веснучатая кожа, слегка впалые щеки, серые с голубизной близорукие глаза, узкий рот; в строгом сером платье с голубым шарфом и в маленькой треугольной шляпке. По-моему, волосы у нее были пострижены коротко.

– А я как раз собирался тебе звонить, – сказал Себастьян, боюсь, не вполне искренне. – Я, видишь ли, всего на день сюда, к завтраму должен вернуться в Лондон. Закажешь что-нибудь?

Они пили кофе. Клэр Бишоп, подрагивая ресницами, порылась в сумочке, нашарила платок и приложила его сначала к одной красноватой ноздре, затем к другой.

– Насморк все хужеет, – сказала она и щелкнула замком.

– О, прекрасно, – сказал Себастьян в ответ на мой очевидный вопрос. – Я, собственно, только что окончил роман, и вроде, издателю, которого я подыскал, он нравится – судя по его обнадеживающему письму. Похоже, он доволен даже названием, “Робин-дрозд дает сдачи”, – в отличие от Клэр.

– По-моему, это звучит глупо, – сказала Клэр, – и потом, птица не может давать сдачи.

– Это намек на известный детский стишок, – сказал, обращаясь ко мне, Себастьян.

– И намек глупый, – сказала Клэр, – первое название было намного лучше.

– Не знаю... Призма... Грань призмы... – пробормотал Себастьян, – это не совсем то, что мне требуется... Жаль, что Робин-дрозд так мало известен...

– Название книги, – сказала Клэр, – должно передавать ее колорит, а не содержание.

Это был первый и последний раз, что Себастьян говорил при мне о литературе. Редко, к тому же, видал я его в таком беззаботном расположении духа. Он выглядел ухоженным и крепким. На тонко очерченном белом лице с легкой тенью по щекам – он был из тех несчастливцев, что вынуждены бриться дважды в день, когда обедают вне дома, – не было и следа нездоровой тусклости, столь часто ему присущей. Довольно крупные, заостренные уши пылали, как и всегда, когда он бывал приятно взволнован. Я же, напротив, испытывал скованность и косноязычие. Я как-то чувствовал, что влез не ко времени.

– В кино пойдём или куда-нибудь еще? – спросил Себастьян, опуская два пальца в жилетный карман.

– Как хочешь, – сказала Клэр.

– Gah-song, – сказал Себастьян. Я и прежде замечал, что он старается говорить по-французски, как то пристало подлинному трезвому британцу.

Некоторое время мы искали под столом и под плюшевыми сиденьями одну из перчаток Клэр. Она пользовалась приятными, холодноватыми духами. Наконец я извлек перчатку, серую, замшевую, на белой подкладке, с бахромчатым раструбом. Клэр не спеша надевала их, пока мы проталкивались сквозь вертлявую дверь. Довольно высокая, с очень прямой осанкой, хорошие шиколки, туфли на низких каблуках.

– Послушай, – сказал я, – боюсь, мне нельзя пойти с вами в кино. Мне страшно жаль, но у меня кое-какие дела. Может быть... Ты когда, в точности, уезжаешь?

– Да ночью, – сказал Себастьян, – но скоро опять вернусь... Глупо, что я не дал тебе знать пораньше. Во всяком случае, мы можем немного тебя проводить...

– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я Клэр...

– Мой пакет, – сказала она, вдруг замерев на месте.

– Ладно, я его прихвачу, – сказал Себастьян и вернулся в кафе.

Вдвоем, очень медленно, мы шли по широкой панели. Я, запинаясь, повторил вопрос.

– Да, прилично, – сказала она. – У меня друзья здесь, я остановилась у них до Рождества.

– Себастьян замечательно выглядит, – сказал я.

– Да, и по-моему тоже, – сказала Клэр, оглянувшись через плечо и затем посмотрев на меня из-под приопущенных ресниц. – Когда я с ним познакомилась, у него был вид обреченного человека.

– А когда это было? – видимо, спросил я, потому что помню ответ:

– Этой весной в Лондоне, на одном прескучном вечере, правда, на вечерах у него вид всегда обреченный.

– Вот твои бонбонки, – сказал сзади нас голос Себастьяна. Я сообщил им, что направлялся к станции подземки, на Этуаль, и мы стали огибать площадь слева. Только было начали мы переходить авеню Клебер, как Клэр едва не сшибло велосипедом.

– Дурашка, – сказал Себастьян, хватая ее за локоть.

– Слишком много голубей, – сказала она, когда мы ступили на тротуар.

– Ага, и пахнут, – добавил Себастьян.

– Чем пахнут? У меня нос заложен, – спросила она, шмыгая и всматриваясь в густую стаю толстых птиц, важно гулявших у нас под ногами.

– Ирисами и резиной, – сказал Себастьян.

Стоны грузовичка, едва увильнувшего от мебельного фургона, отправили птиц колесить по небу. Они оседали на жемчужно-серый и черный фриз Триумфальной арки, и когда некоторые из них вспархивали снова, казалось, что оперяются и оживают кусочки резного антаблемента. Несколько лет спустя я обнаружил эту картину, “этот камень, сливающийся с крылом”, в третьей из книг Себастьяна.

Перейдя еще несколько улиц, мы вышли к белым поручням ведущей на станцию лестницы. Тут мы расстались, вполне беззаботно... Помню удаляющийся плащ Себастьяна и сизовато-серую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и приноровила походку к его машиному шагу.

Ныне я узнал от мисс Пратт много такого, что заставляет меня желать узнать еще больше. Она обратилась ко мне, чтобы выяснить, не осталось ли среди вещей Себастьяна каких-либо писем от Клэр Бишоп. Она подчеркнула, что делает это не по поручению Клэр Бишоп, что фактически Клэр Бишоп ничего о нашем разговоре не знает. Клэр была замужем уже три или четыре года, к тому же она слишком горда, чтобы говорить о прошлом. Мисс Пратт виделась с ней через неделю примерно после того, как о смерти Себастьяна сообщили газеты, и хоть женщины были давними подругами (то есть каждая знала о другой гораздо больше, чем полагала другая), Клэр не стала задерживаться на этой теме.

– Надеюсь, он был не слишком несчастен, – сказала она спокойно, потом прибавила: – Интересно, сохранил ли он мои письма?

То, как она это сказала, прищурясь, быстрый вздох перед переменою темы, – все убедило подругу: для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил мисс Пратт, нельзя ли мне увидаться с Клэр; нельзя ли упротить ее рассказать мне о Себастьяне. Мисс Пратт ответила, что, зная Клэр, она не посмела бы даже передать ей мою просьбу. “Безнадежно” – вот как она сказала. На миг я испытал низкое искушение намекнуть, что владею письмами и отдам их Клэр, если она соизволит со мной побеседовать, так страстно стремился я встретиться с ней, просто посмотреть на нее и увидеть, как скользнет по ее лицу тень имени, которое я назову. Но нет, – я не мог шантажировать прошлое Себастьяна. Об этом нечего было и думать.

– Письма сгорели, – сказал я. И продолжал уговоры, повторяя снова и снова, что, верно, попытка не пытка, что она могла бы убедить Клэр, пересказав наш разговор, что мой визит будет очень недолгим и очень невинным.

– А, собственно, что вы хотите узнать? – спросила мисс Пратт. – Потому что, знаете, я и сама могу многое вам рассказать.

Она долго рассказывала мне о Клэр и Себастьяне, у нее это очень хорошо получалось, хотя, подобно большинству женщин, она имела склонность к некоторой назидательности задним числом.

– Вы хотите сказать, – перебил я ее в определенном месте ее рассказа, – что никто не узнал даже имени этой женщины?

– Никто, – ответила она.

– Но как же я ее найду? – воскликнул я.

– Вы ее никогда не найдете.

– Когда, вы сказали, это началось? – перебил я еще раз при упоминании о его болезни.

– Ну, – сказала она, – тут я не очень уверена. Я ведь видела не первый приступ. Мы вышли из какого-то ресторана. Было очень холодно, и он не мог отыскать такси, нервничал и злился. Он побежал за одной машиной, проскочившей мимо и вставшей. Потом вдруг остановился и сказал, что ему не по себе. Помню, он вынул из коробочки облатку или что-то такое и раздавил ее в своем белом шелковом шарфе и словно бы прижимал ее к лицу, пока давил. Это мог быть и двадцать седьмой год, и двадцать восьмой.

Я задал еще несколько вопросов. Она ответила на все так же обстоятельно и затем продолжила свой печальный рассказ.

После ее ухода я все записал, – но все это было мертво, мертво. Я просто обязан был увидаться с Клэр! Единый взгляд, единое слово, единый звук ее голоса был бы достаточен (и необходим, совершенно необходим) для оживления прошлого. Отчего это так, я не понимал, так же как не понимал вовсе, отчего в один незабываемый день несколькими неделями раньше я был так уверен, что доведись мне застать умирающего в живых, и я узнаю нечто такое, чего не знал еще ни один человек.

И вот, в один из понедельников, поутру, я отправился в гости.

Горничная провела меня в маленькую гостиную. Клэр дома, это я, по крайности, выяснил у румяной и довольно неотесанной молодой особы. (Себастьян замечает где-то, что английские романисты, описывая прислугу, никогда не уклоняются от определенного установившегося тона.) С другой стороны, я знал от мисс Пратт, что днем м-р Бишоп занят в Сити; как странно, – она вышла за человека с такой же фамилией, впрочем никакого родства, чистой воды совпадение. Примет ли она меня? Вполне состоятельны, я бы сказал, но не слишком... Вероятно, гостиная углом на втором этаже, и над нею две спальни. Вся эта улица состояла именно из таких стиснутых, узкофронтонных домов. Долгонько она решается... Может, лучше было рискнуть и сначала телефонировать? Рассказала ли ей уже мисс Пратт про письма? Вдруг вниз по лестнице зазвучали мягкие шаги, и огромный мужчина в черном халате с лиловатыми лацканами пружинисто вошел в комнату.

– Простите мне мой наряд, – сказал он, – но я в жестоком насморке. Я – Бишоп, а вы, как я понял, желали видеть мою жену.

Не подцепил ли он этот насморк, подумал я в курьезном припадке игривости, от красноносой, охриплой Клэр, виденной мною лет двенадцать назад?

– В общем да, – сказал я, – если она меня не забыла. Мы когда-то встречались в Париже.

– О, она отлично помнит вашу фамилию, – сказал м-р Бишоп, твердо глядя на меня, – но с сожалением должен сказать, что она не сможет увидаться с вами.

– А попозже я бы не мог заглянуть? – спросил я.

После недолгой паузы м-р Бишоп спросил:

– Прав ли я, полагая, что ваш визит каким-то образом связан со смертью вашего брата?

– Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата и глядя на меня; светлые волосы отметены назад рассерженной щеткой, – хороший человек, достойный, надеюсь, он не против того, что я говорю это здесь. Могу добавить, что совсем недавно, в весьма печальных обстоятельствах, мы обменялись письмами, вполне покончившими со всякой неприязнью, какая могла примешаться к нашему первому разговору.

– Только это и не позволяет ей видеть меня? – спросил я в свой черед. Фраза вышла дурацкая, согласен.

– Как бы там ни было, вы ее не увидите, – сказал м-р Бишоп. – Простите, – прибавил он немного мягче, заметив, что я слегка отстранился, для верности. – Я уверен, что при иных обстоятельствах... но, видите ли, жена не очень охотно вспоминает о прошлых знакомствах, и вы извините меня, если я скажу, что, по-моему, вам не следовало приходиться.

Я плелся назад, сознавая, что порядком испортил все дело. В воображении я рисовал, что сказал бы я Клэр, застав ее в одиночестве. Я как-то сумел уже убедить себя, что окажись она одна, она бы меня приняла: так непредвиденная помеха преуменьшает те, с которыми свыклось воображение. Я сказал бы: «Не будем говорить о Себастьяне. Поговорим о Пари-

же. Вы хорошо его знаете? Помните тех голубей? Расскажите, что вы читали в последнее время... А фильмы? Вы по-прежнему теряете перчатки, пакеты?" Или я мог бы прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке. "Да, я понимаю, что вы должны испытывать, но пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне про него. Ради его портрета. Ради мелочей, которые уйдут и сгинут, если вы мне откажете, не позволив вставить их в книгу о нем". О, я был уверен, что она нипочем не отказала бы мне.

И два дня спустя, с этим последним намерением, окрепшим в моей голове, я предпринял вторую попытку. На этот раз я решил действовать осмотрительнее. Стояло ясное утро, вполне еще раннее, и я был уверен, что она не станет сидеть в четырех стенах. Я неприметно займу позицию на углу ее улицы, погожу, куда муж отбудет в город, дождусь, когда она выйдет, и тут заговорю с ней. Но все сложилось совсем не так, как я ожидал.

Мне оставалось пройти еще немного, когда внезапно появилась Клэр Бишоп. Она как раз переходила с моей стороны улицы на другую, и я узнал ее сразу, хоть и видел-то лишь однажды, в недолгие полчаса, многие годы назад. Я узнал ее, хоть лицо у нее теперь было измученное, а тело – неожиданно располневшее. Она шагала медленно, грузно; и, пересекая улицу по направлению к ней, я понял, что она – на сносках. Из-за присущей моей натуре порывистости, которая часто заводила меня куда не надо бы, я уже шел к ней с улыбкой приветствия, но в немногие эти мгновения меня потрясло совершенно ясное сознание того, что мне нельзя ни заговаривать с нею, ни даже поздороваться так или иначе. Это сознание не имело ничего общего ни с Себастьяном, ни с моей книгой, ни с перекорами между м-ром Бишопом и мной, но единственно – с ее величавой сосредоточенностью. Я понимал, что даже узнать меня она ни в коем случае не должна, однако, как я сказал, мой порыв перенес меня через улицу, да так, что я едва не налетел на нее, выскочив на панель. Она тяжело отшагнула и подняла на меня близорукие глаза. Нет, слава Богу, она меня не узнала. Было что-то щемящее в торжественном выражении ее бледного, цвета опилок, лица. Мы оба замерли. С нелепым присутствием духа я вытянул из кармана первое, что подвернулось под руку, и спросил:

– Простите, пожалуйста, это не вы обронили?

– Нет, – ответила она с бесстрастной улыбкой. Мгновение она подержала вещицу у глаз, – нет, – повторила она и, вернув мне ее, двинулась дальше. Я стоял, держа в руке ключ, будто бы только что подобранный с мостовой. Это был ключ от квартиры Себастьяна, и со странной болью я осознал, что она коснулась его своими невинными, незрлыми пальцами...

## Глава 9

Их связь продлилась шесть лет. За это время Себастьян написал два своих первых романа: "Призматический фацет" и "Успех". Семь месяцев заняло у него сочинение первого (апрель – октябрь 1924-го) и двадцать два месяца – сочинение второго (июль 1925-го – апрель 1927-го). Между осенью 1927-го и летом 1929-го он написал три рассказа, переизданных позже под общим названием "Потешная гора" (1932). Иными словами, начальные три пятых всех его произведений (я опускаю юношеские – кембриджские стихи, например, которые он сам уничтожил) создавались на глазах у Клэр, а поскольку в промежутках между названными книгами Себастьян прокручивал в воображении, и откладывал, и снова прокручивал тот или иной замысел, можно с уверенностью сказать, что в эти шесть лет занят он был постоянно. И Клэр его занятия нравились.

Она вошла в его жизнь без стука, какходишь в чужую комнату из-за ее неуловимого сходства с твоей. Она осталась в ней, запамятавав дорогу назад и понемногу привыкнув к странным созданиям, которых она там обнаружила и приласкала, несмотря на их удивительные обличья. Особенных упований на счастье или стремления составить счастье Себастьяна у ней не было, как не было и малейшего опасения касательно того, что может статься потом; а было просто естественное приятие жизни с Себастьяном, потому что жизнь без него представить было труднее, чем земную палатку в лунных горах. Если бы она родила ему ребенка, они, весьма вероятно, незаметно пришли бы к браку, потому что для всех троих он стал бы простейшим выходом; но, поскольку этого не случилось, им и не пришлось в



голову подвергнуться чистому и благодетельному обряду, который, очень возможно, пришелся бы по душе обоим, когда бы они его толком обдумали. В Себастьяне вовсе не было прогрессивного сора, этого “к-чертям-предрассудки”. Он знал отлично, что показное презрение к установлениям морали есть все та же чопорность с черного хода, перелицованный предрассудок. Обычно он выбирал самый легкий этический путь (точно так же, как выбирал самый трудный – эстетический) просто потому, что так было ближе до выбранной цели; и он был слишком ленив в обыденной жизни (точно так же, как слишком тяжко трудился в артистической), чтобы возиться с вопросами, которые ставили и решали другие.

Клэр, когда она встретила Себастьяна, исполнилось двадцать два года. Отца она не помнила, мать умерла тоже, а отчим женился опять, и смутное представление о семье, которое давала ей эта чета, смахивало на старый софизм о замене сначала рукоятки, а после клинка, хотя, конечно, вряд ли могла она надеяться отыскать и соединить изначальные части – во всяком случае, по эту сторону Вечности. Она одиноко жила в Лондоне, без усердия посещала художественную школу и курсы восточных языков – ни больше ни меньше. Людям она нравилась, в ней была спокойная приятность – очаровательное неяркое лицо и мягкий, хрипловатый голос, отчего-то западающий в память, как если б она наделена была таинственным даром запоминаться: она хорошо выходила в памяти, была мнемогенична. Даже в ее довольно больших, с крупными костяшками, руках таилось редкое очарование, и еще она хорошо танцевала – легко и безмолвно. Но самое главное, она принадлежала к тем редким, исключительно редким женщинам, что не принимают мир как данность и видят в повседневных вещах не просто знакомые зеркала собственной женственности. Она обладала воображением – этой мышцей души, и воображением особенно сильным, почти мужского достоинства. Ей было свойственно также то истинное чувство прекрасного, которое состоит в куда меньшей связи с искусством, чем с всегдашней готовностью различить ореол вокруг сковородки или сходство плакучей ивы со скайтерьером. И наконец, ей выпало на удачу острое чувство юмора. Не удивительно, что она так впору пришлась его жизни.

Уже в начале знакомства они виделись часто; осенью она уехала в Париж, и он навещал ее там, подозреваю, что не единожды. К этому времени спела его первая книга. Она научилась печатать, и летние вечера 1924 года стали для нее страницами, которые входили в прорезь и выбирались наружу уже живыми от черных и фиолетовых слов. Мне нравится воображать – ее, стучащей по влажно блестящим клавишам под звуки теплого ливня, шуршащего в темных ильмах за открытым окном, и голос Себастьяна, медленный и серьезный (он не просто диктовал, сказала мисс Пратт, – он священнодействовал), блуждающий по комнате взад и вперед. Большую часть дня он проводил за писанием, но продвижение было столь затрудненным, что едва ли более двух новых листков выпадало ей отпечатать за вечер, да и тех ждала переделка, ибо Себастьян погружался обыкновенно в оргию помарок; порою же он проделывал такое, чего, смею сказать, сроду ни один автор не делывал, – переписывал уже отпечатанную страницу своей уклончивой, неанглийской рукой и диктовал ее наново. Борьба со словами давалась ему на редкость болезненно, и тому было две причины. Одна, общая для писателей его склада: наведение мостов через пропасть, лежащую между высказыванием и мыслью; сводящее с ума ощущение, что правильные, единственные слова ждут тебя на другом берегу, в туманной дали; и дрожь еще не одетой мысли, выкликающей их с этого края пропасти. Готовое словесное платье ему не годилось, поскольку то, что он собирался сказать, обладало необщим сложеньем; к тому же он знал, как бессмысленны разговоры о существовании подлинной мысли, пока не имеется слов, сделанных ей под стать. И потому (прибегнем к более точному сравнению) мысль, которая лишь кажется голой, требует только, чтобы стало зримым ее облачение, а слова, мреющие вдаль, – это вовсе не пустые скорлупки, какими они представляются, они только и ждут, когда мысль, уже в них сокрытая, воспламенит их и пустит в ход. По временам он ощущал себя ребенком, которому дали клубок проводов и велели сотворить чудо света. И он творил его, подчас совершенно не понимая, как это ему удастся, а иногда часами теребил провода самым, казалось бы, осмысленным образом – и не достигал ничего. Клэр же, во всю ее жизнь не сочинившая ни строки, ни прозаической, ни стихотворной, так хорошо понимала (и это было ее личное чудо) каждую частность его борений, что слова, которые она печатала, становились для нее не столько носителями их прирожденного смысла, сколько кривыми, разрывами и зигзагами, отоб-

ражающими медленное – на ощупь – перемещение Себастьяна вдоль некоей идеальной линии выражения.

Но и это не все. Я знаю, знаю так же верно, как знаю, что мы с ним – дети одного отца, я знаю, что русский язык Себастьяна был богаче, был естественней для него, чем английский. Я очень даже верю, что Себастьян, не говоря по-русски пять лет, мог внушить себе, будто он забыл русский язык. Однако язык – живучая тварь, от которой не так-то просто избавиться. К тому же следует помнить, что за пять лет до его первой книги, – то есть в то время, когда он покинул Россию, – его английский был так же скуден, как мой. Я несколько лет спустя усовершенствовал свой искусственно (усердными штудиями за границей), он постарался дать своему расцвести естественным образом, в его природной среде. Тот расцвел, и на диво, и все-таки я настаиваю: возмись он писать по-русски, ему не пришлось бы так мучиться со словами. И позвольте прибавить, что я располагаю письмом, написанным Себастьяном незадолго до смерти. Это короткое письмо писано на русском языке, более чистом и богатым, чем был когда-либо его английский, каких бы красот выражения он ни достиг в своих книгах.

Я знаю и то, что Клэр, перенося на бумагу слова, которые выпутывал из рукописи Себастьян, временами переставала печатать и говорила, немного нахмурясь, приподняв краешек стиснутого листа и перечитывая строку:

– Нет, милый, так по-английски нельзя.

Миг-другой он смотрел на нее, потом опять принимался рыскать по комнате, без охоты взвешивая ее замечание, она же сидела, мягко сложив на коленях ладони, и тихо ждала.

– Иначе это не выразишь, – бормотал он в конце концов.

– А если, допустим... – говорила она – и следовало точное предложение.

– Ну, хорошо, будь по-твоему, – отвечал он.

– Я не настаиваю, милый, как хочешь. Если ты считаешь, что дурная грамматика не повредит...

– Ох, да продолжай же, – вскрикивал он, – ты совершенно права, продолжай...

К ноябрю 1924 года “Призматический фацет” был завершен. Он вышел в марте следующего года и никакого успеха не имел. Просмотрев тогдашние газеты, я смог отыскать лишь одно упоминание о нем. Пять с половиной строк в воскресной газете, между другими, относящимися до других книг. “Призматический фацет” – это, по-видимому, первый роман, и как таковой не может быть судим столь же строго, как (книга Имярека, обсуждаемая выше). Смех его мне представляется невнятным, а невнятности – смешными, впрочем, возможно, существует род литературы, прелести которого мне недоступны. Однако, в угоду читателям, коим по нраву подобного сорта вещи, могу добавить, что м-р Найт так же умело распутывает канитель, как и разделяет инфинитивы”.

Та весна была, возможно, счастливейшей в жизни Себастьяна. Он произвел одну книгу на свет и уже ощущал толчки другой. У него было превосходное здоровье. У него была восхитительная подруга. Его не терзала теперь ни одна из тех ничтожных забот, что прежде одолевали его с упорством муравьиной семьи, заселяющей гасиенду. Клэр рассылала его письма, и проверяла счета из прачечной, и следила, чтобы у него всегда было вдоволь бритвенных лезвий, табака и соленого миндаля, к которому он питал особую слабость. Ему нравилось, пообедав с ней где-нибудь, отправиться в театр. Пьеса почти неизменно заставляла его потом корчиться и стенать, но он испытывал болезненное наслаждение, препарируя ее пошлости. Выражение алчности, злобного пыла раздувало его ноздри, и стиснув зубы в пароксизме гадливости, он набрасывался на какую-нибудь жалкую плоскость. Мисс Пратт припомнила случай, когда ее отец, какое-то время имевший денежный интерес в фильмовом промысле, пригласил Себастьяна и Клэр на приватный просмотр очень пышного и дорогого фильма. Главную роль исполнял замечательно статный молодой человек в шикарном тюрбане, а интрига была страх как драматична. В миг наивысшего напряжения Себастьян, к крайнему удивлению и раздражению м-ра Пратта, вдруг затрясся от смеха, причем Клэр тоже забулькала, но теребила его за рукав, тщетно пытаясь утихомирить. Славно, должно быть, они коротали время, эти двое. И невозможно поверить, что это тепло, эта нежность, красота всего этого не собраны и не сберегаются где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни. Их можно было увидеть гуляющими в Кью-Гарденз или в Рич-

монд-Парке (сам я ни разу там не был, но названия мне приятны) или поедающими яичницу с ветчиной в какой-нибудь уютной харчевне во время летней прогулки за городом, или читающими на просторном диване Себастьянова кабинета: горит веселое пламя, и английское Рождество уже наполняет воздух, настоящий на лаванде и коже, легким запахом пряностей. И, верно, можно было услышать, как Себастьян рассказывает ей о необычайных вещах, которые он попытается выразить в новом своем романе, в “Успехе”.

В один из летних дней 1926 года, ощутив себя высохшим и выдохшимся после схватки с особо непокорной главой, он решил, что следует месяц передохнуть за границей. Клэр, которую держали в Лондоне какие-то дела, сказала, что присоединится к нему примерно через неделю. Когда она наконец появилась на выбранном Себастьяном морском немецком курорте, ей неожиданно сообщили в отеле, что Себастьян уехал, куда – неизвестно, но должен вернуться дня через два. Это озадачило Клэр, хоть, как она после рассказывала мисс Пратт, и не вызвало у нее чрезмерной тревоги или беспокойства. Мы можем представить ее – высокую, тонкую фигуру в голубом макинтоше (погода стояла неприветливая и угрюмая), – бесцельно бредущую по променаду; песчаный пляж пуст, не считая нескольких неунывающих детей, скорбно плещут под умирающим бризом трехцветные флаги, стальное серое море там и сям вскипает гребешком пены. Дальше по берегу рос буковый лес, глубокий и мрачный, без подлеска, только вьюнок покрывал волнистую бурую землю, и странная бурая тишина стояла, выжидая, между прямых и гладких стволов; ей подумалось, что в любую минуту она может встретить красноколпачного немецкого гнома, подглядывающего за ней яркими глазками из-под палых листьев ложбины. Распаковав купальные принадлежности, она провела приятный, хоть и несколько вялый день, лежа на мягком белом песке. Утром снова шел дождь, до завтрака она оставалась в своей комнате, читая Донна, который потом так навсегда и связался у ней с бледно-серым светом этого влажного и мглистого дня и с ревом ребенка, желавшего играть в коридоре. Вскоре появился Себастьян. Он явно обрадовался ей, но что-то было в его поведении не вполне натуральное. Он казался встревоженным, нервным и отворачивался всякий раз, что она пыталась встретиться с ним глазами. По его словам, он столкнулся с человеком, которого знал сто лет назад, в России, и они поехали на его машине в \*\*\*, он назвал городок на побережье, в нескольких милях отсюда.

– Но что с тобой, милый? – спросила она, взглядываясь в его пасмурное лицо.

– Ах, да ничего, ничего, – сварливо выкрикнул он, – не могу я сидеть, ничего не делаю, мне нужно работать, – прибавил он и отвернулся.

– Хотела б я знать, правду ли ты говоришь, – сказала она.

Он пожал плечами и ребром ладони провел по вмятинке в шляпе, которую держал в руках.

– Пошли, – сказал он. – Давай позавтракаем и назад, в Лондон.

Однако удобного поезда не было до самого вечера. Погода разведрилась, они пошли прогуляться. Раз или два Себастьян попытался принять свой обычный беспечный тон, но веселость как-то выдохлась, и оба они примолкли. Они вошли в буковый лес. Здесь витала та же загадочная и угрюмая настороженность, и он заметил, хоть она и не сказала ему, что уже тут побывала:

– Как здесь странно и тихо. Жутковато, правда? Так и ожидаешь увидеть лешего среди палой листвы и вьюнка.

– Послушай, Себастьян, – воскликнула вдруг она и положила руки ему на плечи. – Я хочу знать, что случилось. Ты, может быть, меня разлюбил? Так?

– Ах, душка моя, что за чушь, – сказал он совершенно искренне. – Впрочем... если тебе обязательно знать... видишь ли... я плохой притворщик и, ладно, лучше, чтобы ты знала. В общем, у меня чертовски разболелась грудь и рука, и я решил махнуть в Берлин, показаться доктору. А он меня засунул в постель... Серьезно?.. Да нет, надеюсь, что нет. Мы с ним говорили о коронарных артериях, о кровоснабжении и синусах Сальвы, вообще он, по-моему, дельный старичок. Надо будет в Лондоне повидаться еще кое с кем, получить независимое мнение, хотя сегодня я себя чувствую превосходно...

Думаю, Себастьян знал уже, какой сердечной болезнью он страдает. Его мать скончалась от того же недуга – довольно редкой разновидности грудной жабы, некоторыми докторами называемой “болезнью Лемана”. Похоже, впрочем, что после первого приступа он по-

лучил почти годовую отсрочку, лишь временами испытывая странное покалыванье в левой руке, словно от внутреннего зуда.

Вновь уселся он за работу и упорно трудился всю осень, весну и зиму. “Успех” писался труднее, чем первый роман, и отнял значительно больше времени, при том что обе книги получились примерно одной длины. Счастье мне улыбнулось, и я из первых рук получил описание дня, в который был закончен “Успех”. Я обязан им человеку, с которым познакомился позже, собственно, большая часть воображаемых картин, предложенных мною читателю в этой главе, возникла из сопоставления рассказов мисс Пратт с рассказами еще одного Себастьянова друга, хотя искра, воспламенившая их, каким-то таинственным образом связана с Клэр Бишоп, с той минутой, когда я увидел ее тяжело ступающей по лондонской улочке.

Дверь отворяется. Виден Себастьян Найт, распластанный на полу своего кабинета. У стола Клэр собирает в опрятную стопку отпечатанные страницы. Вошедший замирает.

– Нет, Лесли, – с пола говорит Себастьян, – я не умер. Я завершил сотворение мира и это мой отдых субботний.

## Глава 10

“Призматический фацет” был по достоинству оценен, лишь когда первый настоящий успех Себастьяна заставил другое издательство (Бронсона) заново напечатать его, но даже тогда он раскупался не так хорошо, как “Успех” или “Утерянные вещи”. Для первого романа он выказывает замечательную силу художественной воли и литературного самообладания. Как это часто случалось в творчестве Себастьяна Найта, он прибегнул к пародии как к своего рода подкидной доске, позволяющей взлетать в высшие сферы серьезных эмоций. Дж. Л. Коулмен говорит в этой связи об “окрыленном клоуне, об ангеле, притворившемся турманом” – эта метафора представляется мне весьма уместной. Хитроумно построенный на пародировании различных уловок литературного ремесла, “Призматический фацет” взмывает ввысь. С чувством, чем-то родственным фанатической ненависти, Себастьян Найт выискивал вещи, некогда свежие и яркие, а ныне изношенные до нитки, мертвые среди живых, мертвые, но подделывающиеся под живых, крашенные-перекрашенные, но все принимаемые ленивыми умами, безмятежно не ведающими обмана. Разлагающаяся идея может быть вполне невинной сама по себе, можно также сказать, что нет большого греха и в том, чтобы по-прежнему пользоваться тем или иным совершенно истасканным сюжетом или стилем, раз они еще радуют и развлекают. Но для Себастьяна Найта любая безделица вроде, скажем, методы, усвоенной детективным рассказом, становилась раздутым, зловонным трупом. Он ничего не имел против грошового романа ужасов – дежурная мораль его не заботила; но что неизменно его раздражало, так это второй сорт, – не третий, не пятый-десятый, – потому что здесь, еще на читаемом уровне, и начиналась подделка, а она-то и была аморальной, в художественном смысле. Однако “Призматический фацет” это не просто забавная пародия на декор детектива, но еще и издевательское подражание массе иных вещей: к примеру, некоему литературному обычаю, отмеченному в современном романе Себастьяном Найтом с его сверхъестественным чутьем на потаенный распад, – а именно, модному приему сведения разношерстной публики в замкнутом пространстве (в гостинице, на острове, на улице). Кроме того, по ходу книги высмеиваются разнообразные стили, равно как и проблема сочетания прямой речи с повествовательной, которую элегантно перо разрешает, отыскивая такое число вариантов для “он сказал”, какое только удастся словить в словаре между “ахать” и “язвить”. Но повторяю, все это сумрачное веселье для автора – лишь подкидная доска.

Двенадцать человек живут в пансионе; дом описан очень старательно, но дабы подчеркнуть “островной” оттенок, весь остальной город показан небрежно, как межвидовая помесь природных туманов и внутривидовая – сценических декораций с ночным кошмаром торговца недвижимостью. Как указывает (не напрямую) автор, этот способ чем-то сродни фильмовой традиции изображения героини в небывалые годы ее учебы – пленительно выделяющейся из толпы заурядных и сносно реальных школьниц. Один из жильцов, некий Г. Абезон, торговец картинами, найден в его комнате убитым. Офицер местной полиции, вся

характеристика которого сведена к описанию его башмаков, телефонирует лондонскому сыщику и просит его приехать как можно скорее. Из-за стечения несчастных обстоятельств (его машина переезжает старушку, а потом он садится не в тот поезд) сыщик не появляется очень долго. Тем временем всесторонне исследуются все обитатели пансиона плюс случайный прохожий, старик Нозебаг, оказавшийся в вестибюле, когда открылось преступление. Все они, за изъятием последнего из поименованных, кроткого старого господина с белой бородой, пожелтевшей у рта, и с безобидной страстью к коллекционированию табакерок, более или менее подозрительны, а один скользкий студент-живописец – в особенности: под его кроватью находят с полдюжины испачканных кровью носовых платков. Стоит, кстати, отметить, что для упрощения и “сгущения” происходящего ни один из слуг или служащих гостиницы не упомянут, и никого их небытие не заботит. Затем, быстро и плавно, что-то в рассказе начинает смещаться (сыщик, это следует помнить, все еще едет, а окоченелый труп Г. Абезона по-прежнему лежит на ковре). Постепенно становится ясно, что все постояльцы так или иначе связаны друг с дружкой. Старая дама из № 3 оказывается матерью скрипача из № 11. Романист, занимающий спальню по фасаду, – это, собственно, муж молодой дамы, проживающей на задах четвертого этажа. Скользкий студент-живописец – не кто иной, как брат этой дамы. Важный луноликий джентльмен, очень со всеми вежливый, оказывается лакеем сварливого старика-полковника, а тот, судя по всему, – отцом скрипача. Процесс постепенного размывания продолжается, и становится очевидным, что студент помолвлен с маленькой толстушкой из № 5, а она приходится старой даме дочерью от первого брака. И когда лоун-теннисный чемпион-любитель из № 6 оказывается братом скрипача, а романист их дядей, а старая дама из № 3 женой сварливого полковника, номера на дверях тихонечко тают и мотив пансиона безболезненно и гладко сменяется мотивом загородного дома со всем, что отсюда естественным образом проистекает. Тут в повествовании возникает странная красота. Идея времени, над которой нас заставили посмеяться (заблудившийся сыщик... застрявший где-то в ночи), как бы сворачивается клубочком и засыпает. Жизнь персонажей переливается ныне подлинным и человеческим содержанием, а опечатанная дверь Г. Абезона становится всего лишь дверью в забытый чулан. Новая фабула, новая драма, ничем не связанная с началом повествования, которое тем самым вытесняется в область снов, кажется, вступает в борьбу за существование, пытаясь пробиться к свету. Но в самую ту минуту, когда читатель начинает чувствовать себя вполне безопасно в обстановке приятной яви, а грациозность и блеск авторской прозы указывают, по-видимому, на возвышенность и честность его намерений, раздается дурацкий стук в дверь и появляется сыщик. Мы снова барахтаемся в трясине пародии. Сыщик, третий малый, не выговаривает “г”, причем притворяется, будто это он притворяется – оригинальности ради; ибо тут пародируется не мода на Шерлока Хольмса, но современное отношение к ней. Вновь перебираются все постояльцы. Возникают новые нити. Кроткий старик Нозебаг путается у всех под ногами, такой совсем рассеянный и безвредный. Он просто зашел узнать, поясняет он, нет ли у них свободной комнаты. Похоже, вот-вот в дело пойдет старый трюк – превращение самой невинной с виду персоны в главного негодяя. Сыщик начинает вдруг проявлять интерес к табакеркам. “А’а, – говорит он, – а кто у нас тут по искусству?” Внезапно вваливается полисмен, весь багровый, и докладывает, что покойник дал деру. Сыщик: “Какую де’у, парень?” Полисмен: “Деру, сэр. В комнате пусто”. Наступает минута нелепого остоленения. “Думаю, – говорит старик Нозебаг, – я смогу вам все объяснить”. Медленно, с большой осторожностью, он снимает бороду, седой парик, темные очки, и открывается лицо Г. Абезона. “Видите ли, – произносит м-р Абезон с самоуничижительной улыбкой, – никому ведь не хочется, чтобы его убивали”.

Я постарался, как мог, показать ходы этой книги, по крайности некоторые из ходов. Ее обаяние, юмор и пафос воспринимаются лишь при непосредственном чтении. Но для просвещения тех, кто ощущает себя сбитым с толку ее наклоном к метаморфозе или просто испытывает отвращение, обнаружив нечто не совместимое с представлением о “приятной книге”, когда ему случается открыть книгу совершенно новую, мне хотелось бы указать на следующее: вполне насладиться “Призматическим факетом” возможно, лишь понимая, что его герои суть то, что можно расплывчато обозначить как “приемы сочинительства”. Это как если бы художник сказал: смотрите, здесь я хочу показать вам не изображение ландшафта, но изображение различных способов изображения некоего ландшафта, и я верю, что их

гармоническое слияние откроет в ландшафте то, что мне хотелось вам в нем показать. В первой своей книге Себастьян привел этот эксперимент к логическому и удовлетворительному завершению. Испытывая *ad absurdum*<sup>12</sup> ту или иную литературную манеру и отвергая их одну за другой, он создал собственную и в полной мере применил ее в следующей книге, в «Успехе». Здесь он представляется перешедшим в иную плоскость, поднявшимся ступенью выше, ибо если первый его роман посвящен приемам литературного сочинительства, – во втором речь идет большей частью о приемах, которыми пользуется человеческая судьба. С научной точностью классификации, проверки и отбраковки колоссального количества данных (возможность накопления коих обеспечена фундаментальным предположением, что автор способен узнать о своих персонажах все ему потребное, причем эта способность ограничена лишь методом и целью проводимого им отбора, при условии что тот является не бестолковым копошением в никчемных подробностях, но поиском, обстоятельным и последовательным) Себастьян Найт посвящает триста страниц «Успеха» одному из сложнейших исследований, на какие когда-либо решался писатель. Нам сообщают, что некий коммивояжер, Персиваль К., в некий миг его жизни и в неких обстоятельствах встречает девушку, помощницу фокусника, с которой он будет счастлив отныне и навек. Встреча является или представляется случайной: оба оказались в машине, принадлежащей участливому незнакомцу, в день, когда забастовали автобусы. Такова формула: вовсе не интересная, если рассматривать ее как истинное происшествие, но становящаяся источником удивительного духовного наслаждения и восторга при созерцании под определенным углом. Задача автора – выяснить, как и откуда эта формула возникла; и все волшебство и сила его искусства нацелены на выяснение точного способа, которым удалось заставить сойтись две линии жизни; в сущности, вся книга – это великолепная игра причинных связей или, если угодно, исследование этиологической тайны случайных событий. Шансы представляются неограниченными. С переменным успехом просматриваются несколько очевидных линий расследования. Отступая назад, автор устанавливает, почему забастовку назначили на тот именно день, – оказывается, что причиной всему – пожизненное пристрастие некоего государственного деятеля к числу девять. Это нас никуда не приводит, и след оставляется (не без того, чтобы позволить нам понаблюдать за пылкими партийными препирательствами). Другой ложный след – автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот незнакомец, что заставило его именно в эту минуту ехать по этой улице; но узнав, что последние десять лет своей жизни он проезжает здесь, по дороге в контору, каждый рабочий день, мы расстаемся с ним несолоно хлебавши. Итак, остается предположить, что внешние обстоятельства встречи не могут служить образчиком предприимчивости судьбы в отношении двух персонажей, что они – только данность, фиксированная точка, причинной важности не имеющая; поэтому с чистой совестью мы обращаемся к иной проблеме: почему именно К. и девушка, которую зовут Анной, именно эти двое сошлись и на мгновение стали бок о бок на тротуаре в этом именно месте. И вот автор прослеживает вспять линию судьбы сначала девушки, потом мужчины, потом сличает записи и снова исследует обе линии поочередно.

Мы узнаем массу любопытного. Две линии, которые в конце концов сходятся в точке встречи, в действительности – не прямые стороны треугольника, неукоснительно расходящиеся к неведомому основанию, но волнистые кривые, которые то разбегаются, то почти соприкасаются. Иными словами, в жизни этих людей имелось самое малое два случая, когда они, не ведая друг о друге, едва не встретились. В каждом случае судьба, казалось, готовила встречу со всемерным тщанием, подстегивая то одну, то другую возможность; перекрывая выходы и подкрашивая указатели; вкрадчиво пережимая кисею рампетки, в которой билась бабочка; выверяя малейшие детали и ничего не оставляя случаю. Раскрытие этих тайных приготовлений завораживает, автор, берущий в расчет все краски места и обстоятельств, кажется аргусоглазым. Но всякий раз небольшая ошибка (тень упущения, заделанная лазейка оставленной без присмотра возможности, прихоть свободной воли) отравляет радость детерминиста, и две жизни вновь разбегаются с нарастающей скоростью. Так, Персиваль К. в последнюю минуту не смог (его пчела укусила в губу) пойти на вечеринку, куда судьба с

<sup>12</sup> До абсурда (лат.)

бесконечными затруднениями управилась привести Анну; так, поддавшись минутному настроению, она не смогла получить старательно подготовленное место в бюро утеранных вещей, где служил брат К. Но судьба слишком настойчива, чтобы теряться от неудач. И окончательного успеха она достигает посредством таких тонких махинаций, что не раздается и легкого щелчка, когда эти двое сходятся.

Я не стану входить в иные подробности этой умной и увлекательной книги. Она известна более всех сочинений Себастьяна, хотя три его последние книги во многом ее превосходят. Как и в рассказе о “Призматическом факете”, единственной моей целью было – дать ощущение ее ходов, быть может, в ущерб впечатлению красоты, оставляемому книгой самой по себе, помимо ее искусных выдумок. В ней есть, если мне позволено будет добавить, одно место, так странно связанное с внутренней жизнью Себастьяна в пору завершения последних глав, что стоит его привести, оттенив тем самым ряд замечаний, относящихся более к извилистостям авторского мозга, чем к эмоциональной стороне его искусства.

“Вильям [первый, подозрительно женственный жених Анны, который потом ее бросил], как всегда, проводил ее до дому и легко приобнял в темноте дверного проема. Внезапно она почувствовала, что лицо его влажно. Он прикрыл ладонью глаза и нащупал платок. “Дождик в раю... – сказал он, – луковица ликования... бедный Вилли волей-неволей весь волглый.” Он поцеловал ее в угол рта и высморкался с легким и влажным всхлипом. “Взрослые мужчины не плачут”, – сказала Анна. “Так я же не взрослый, – ответил он, чуть поднывая. – Смотри, сколько детского в этой луне и в мокрой панели, и любовь – как младенец, сосущий мед...” “Перестань, пожалуйста, – сказала она. – Ты знаешь, я терпеть не могу, когда ты так говоришь. Это так неумно, так...” “Так вильямно”, – он вздохнул. Он снова поцеловал ее, они стояли, подобные мягким и темным статуям с неразличимыми головами. Прошел полицейский с ночью на поводке и встал, чтобы дать ей обнюхать почтовую тумбу. “Я счастлива, как и ты, – сказала она, – но мне вовсе не хочется плакать или болтать чепуху”. “Но как же ты не видишь, – прошептал он, – как ты не видишь, что счастье – в лучшем случае лишь скоморох собственной смертности?” “Спокойной ночи”, – сказала Анна. “Завтра в восемь”, – крикнул он, когда она скользнула прочь. Он ласково погладил дверь и минуту спустя уже тащился по улице. Она теплая и мягкая, думал он, и я люблю ее, и все это впустую, впустую, потому что мы умираем. Я не в силах снести это сползание в прошлое. Вот и последний поцелуй уже умер, и “Женщина в белом” (фильм, который они собирались смотреть в этот вечер) мертва, как надгробье, и полицейский, прошедший мимо, тоже мертв, и даже дверь мертва, как любой из ее гвоздей. И эта последняя мысль тоже уже умерла. Прав Коутс (доктор), когда говорит, что сердце у меня слишком мало по моему росту. И по горестям тоже. Он брел, беседуя сам с собой, тень его то казалась длинным носом, то приседала в реверансе, отскальзывая от фонаря. Достигнув своего унылого жилища, он долго лез в темноте по лестницам. Прежде чем лечь, он стукнул в дверь фокусника, старик, стоя в подштанниках, разглядывал пару черных штанов. “Ну как?” – спросил Вильям. <...> “Выговор мой им, вишь, не по нраву, – ответил тот, – да только, думаю, этот номер я все одно получу”. Вильям присел на кровать и сказал: “Тебе бы волосы надо покрасить”. “У меня больше лысины, чем седины”, – сказал фокусник. “Вот интересно, – сказал Вильям, – куда девается все, что мы теряем, ведь где-то должно же все это быть, верно? выпавшие волосы, ногти...” “Опять налился?” – предположил без особого интереса фокусник. Он старательно сложил брюки и велел Вильяму слезть с кровати, чтобы сунуть их под матрас. Вильям перебрался в кресло, и фокусник приступил к делу; волоски искрились на икрах, пучились губы, ласково двигались мягкие руки. “Я просто счастлив”, – сказал Вильям. “По виду не скажешь”, – заметил серьезный старик. “Можно, я куплю тебе кролика?” – спросил Вильям. “Коли понадобится, займу где-нибудь”, – ответил фокусник, вытягивая “понадобится”, как бесконечную ленту. “Смешная профессия, – сказал Вильям, – словно карманник спятил. Что медяки у нищего в шляпе, что яичница в твоём цилиндре. Одинаково глупо”. “Нам к оскорблениям не привыкать”, – сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Вильям ощупью выбрался наружу. Книжки на его кровати, казалось, ленились стронуться с места. Раздеваясь, он воображал недоступные прелести залитой солнцем прачечной: синюю воду и алость запястий. Может, Анну попросить постирать рубашку? Неужели он ее опять рассердил? Неужели она и вправду надеется, что когда-нибудь мы поженимся? Бледные маленькие

веснушки на глянцевой коже, ниже невинных глаз. Чуть выступает правый резец. Мягкая теплая шея. Он снова почувствовал, как напирают слезы. Уйдет ли и она дорогою Мэй, Джуди, Джульетты, Августы и всех остальных погорелиц его любви? Он слушал, как в смежной комнате запирается танцовщица, плещется, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то, звякнув, упало. Фокусник начал храпеть”.

## Глава 11

Я быстро приближаюсь к критической точке сентиментальной жизни Себастьяна и, рассматривая уже сделанную работу в бледном отсвете еще не выполненной мною задачи, чувствую себя на редкость неловко. Сумел ли я честно отобразить эту часть Себастьяновой жизни, как надеялся – и как надеюсь теперь, переходя к ее последней поре? Безотрадная возня с чужими мне оборотами речи и полное отсутствие литературного навыка не располагают к чрезмерной самоуверенности. Но как бы ни худо я справился в прежних главах со своею задачей, я намереваюсь продолжать, и в этом меня поддерживает тайное знание, что каким-то неприметным способом тень Себастьяна пытается мне помочь.

Я получил и менее отвлеченную помощь. П. Дж. Шелдон, поэт, много выдавшийся с Себастьяном и Клэр между 1927 и 1930 годами, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно, когда я обратился к нему вскорости после странной полувстречи с Клэр. И он же, два месяца спустя (когда я уже приступил к этой книге), сообщил мне о несчастной участи Клэр. Она казалась такой нормальной и здоровой молодой женщиной, как же случилось, что она умерла, истекши кровью рядом с пустой колыбелью? Он рассказал мне, как она радовалась, когда “Успех” стал оправдывать свое название. Ибо на сей раз это и впрямь был успех. Почему так вышло, почему должна была провалиться одна превосходная книга, а другая, столько же превосходная, – получить по достоинству, – останется вечной загадкой. Как и с первым своим романом, Себастьян и пальцем не шевельнул, не потянул ни единой ниточки, чтобы обеспечить “Успеху” броские извещения и теплый прием. Когда агентства, рассылающие газетные вырезки, принялись засыпать его образцами похвал, он отказался и стать их подписчиком, и поблагодарить доброжелательных критиков. Выражение благодарности человеку, который, сказав о книге, что думает, попросту исполнил свой долг, представлялось Себастьяну недостойным и даже обидным, предполагающим присутствие тепловатой человеческой мути в морозной ясности бесстрастного суждения. Сверх того, единожды начав, он вынужден был бы и дальше благодарить и благодарить за всякую новую строку, чтобы не обидеть человека неожиданным упущением; и в итоге возникло бы такое душное, дурманящее тепло, что при всей широко известной честности того или иного критика признательный автор никогда не имел бы полной, полной уверенности, что там или сям не втерлось украдкой личное расположение.

Слава в наши дни вещь слишком заурядная, чтобы почитать за нее неизменную пылкость, с которой принимается книга, того заслужившая. Но слава то была или не слава, Клэр намеревалась извлечь из нее удовольствие. Ей хотелось встречаться с людьми, желавшими встреч с Себастьяном, решительно не желавшим их видеть. Ей хотелось послушать, что говорят об “Успехе” люди, но Себастьян заявил, что эта книга ему больше не интересна. Она хотела, чтобы Себастьян вступил в литературный клуб и сошелся с другими писателями. И раз или два Себастьян втискивался в крахмальную сорочку и снова из нее выбирался, не промолвив ни слова на обеде, заданном в его честь. Он не очень хорошо себя чувствовал. Плохо спал. У него случались ужасные вспышки раздражения – и это было ново для Клэр. Как-то под вечер, когда он работал у себя в кабинете над “Потешной горой”, стараясь не сбиться с крутой и скользкой тропы, кружащей в темных расселинах невралгии, к нему вошла Клэр и нежнейшим своим голоском понаведалась, не примет ли он посетителя.

– Нет, – сказал Себастьян, показывая зубы только что написанному слову.

– Но ты пригласил его к пяти и...

– Ну вот, добилась... – выкрикнул Себастьян и ахнул вечным пером об ошарашенную белую стену. – Ты что, не можешь дать мне спокойно работать? – орал он, набирая такую мощь, что П. Дж. Шелдон, в смежной комнате игравший с Клэр в шахматы, встал и прикрыл



дверь в прихожую, где пребывал в ожидании смиренный маленький человечек.

По временам на него нападало безудержное озорство. Как-то вечером, в обществе Клэр и еще двух друзей, он придумал замечательный способ разыграть человека, с которым им предстояло свидеться после обеда. Шелдон, довольно странно, забыл, что в точности было задумано. Себастьян хохотал, поворачиваясь на каблуках и ударяя кулаком о кулак, что он делал в минуты искреннего веселья. Они уж готовы были начать, сгорали от нетерпения и так далее, и Клэр уже вызвонила такси, и серебристые туфельки сверкали на ней, и она отыскала сумочку, как Себастьян вдруг утратил, казалось, всякий интерес к продолжению затеи. Он поскущел, зевнул, не раскрывая рта, что было до крайности неприятно, и наконец сказал, что, пожалуй, прогуляется с собакой и завалится спать. В те дни у них был маленький черный бульдожок, позже он заболел, и пришлось его умертвить.

Была написана “Потешная гора”, потом “Альбиносы в черном”, а после “Изнанка Луны”. Помните восхитительного героя этого рассказа, смиренного, пребывающего в ожидании поезда человечка, который помогает трем незадачливым путешественникам в трех различных делах? Этот м-р Зиллер, пожалуй, самое живое из созданий Себастьяна и в то же время он – последний представитель “темы расследования”, которую я обсуждал в связи с “Призматическим факетом” и с “Успехом”. Словно бы некая мысль, постепенно прораставшая сквозь две его книги, выбилась теперь в реальное физическое бытие, и вот м-р Зиллер отвечает поклон, и каждая подробность его облика и повадки осязаема и уникальна – кустистые брови и опрятные усики, мягкий воротничок и адамово яблоко, “шевелиющаяся, словно пухлые формы соглядатая за шпалерой”, карие очи, винно-красные веночки на крупном, крепком носу, “форма которого заставляла гадать, не обронил ли он где-то свой горб”; черный кургузый галстучек и поношенный зонт (“утка в глубоком трауре”); темная поросль в ноздрях; чудесный сюрприз сияющего совершенства, когда он снимает шляпу. Но чем лучше шла у Себастьяна работа, тем хуже он себя чувствовал, – особенно в перерывах. Шелдон считает, что мир последней книги, которую Себастьяну еще предстояло писать несколько лет спустя (“Неясный асфодель”), уже отбрасывал тень на все, его окружавшее, и что романы его и рассказы – это лишь яркие маски, лукавые искусители, безошибочно уводившие его под предлогом артистического приключения к некоей неминуемой мете. Предположительно, он был по-прежнему привязан к Клэр, но из-за острого ощущения собственной смертности, ставшего уже неотвязным, отношения с ней начинали казаться более непрочными, чем они, вероятно, были. Что до Клэр, она безо всякого умысла, в благонамеренной невинности замешкалась в каком-то приятном, солнечном уголке Себастьяновой жизни, где сам Себастьян не помедлил; теперь она отстала и даже не знала толком, пытаться ли ей нагнать его или попробовать окликнуть, воротить назад. Она была погружена в оживленную деятельность, присматривая за его литературными делами, вообще поддерживая порядок в его жизни; и хоть, разумеется, понимала: что-то разладилось, опасно нарушилась связь с жизнью его воображения, но, видимо, она утешалась надеждой, что это – преходящие неприятности и что “понемногу все образуется”. Натурально, я не могу касаться интимной стороны их отношений, во-первых, потому что смешно было бы рассуждать о том, о чем ничего определенного сказать невозможно, а во-вторых, потому что самый звук слова секс” с его вульгарным присвистом и “кс-кс” на конце, каким приманивают кошку, представляется мне до того пустым, что я волей-неволей сомневаюсь, – есть ли вообще у этого слова сущностное содержание. Я действительно полагаю, что наделять “секс” неким особым значением в человеческой жизни или, того хуже, позволять “сексуальной идее”, когда таковая вообще существует, пронизывать и “объяснять” все остальное – это серьезное заблуждение разума. “Ударом волны не объяснить целого моря, от луны в нем до змея; но лужица в ямке скалы и алмазная зыбь на дороге в Катай – все это вода”. (“Изнанка Луны”.)

“Физическая любовь – это лишь иносказание все о том же, а не особенная сексофонная нота, которая, попав однажды на слух, отзывается эхом во всех областях души”. (“Утерянные вещи”, с.82). “Все вещи принадлежат к одному порядку вещей, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи, чем бы она ни была, материя. Единственное действительное число – единица, прочие суть простые повторы”. (Там же, с.83.) Даже проведая я из каких-то источников, что связь с Клэр не вполне отвечала представлениям Себастьяна о телесной любви, мне бы и в голову не пришло объявить эту

неудовлетворенность причиной общей его возбужденности и нервозности. Но будучи неудовлетворенным вообще, он мог испытывать неудовлетворенность и красками своей любви. И напоминаю, что я использую слово “неудовлетворенность” весьма произвольно, ибо Себастьяновы настроения этой поры были куда сложнее, чем просто Weltshmerz<sup>13</sup> или хандра. Их можно понять лишь через последнюю его книгу, через “Неясный асфодель”. Пока эта книга оставалась лишь дымкой вдаль. Вскоре она превратится в очертания берега. В 1929 году известный специалист по сердечным расстройствам, д-р Оутс, посоветовал Себастьяну провести месяц в Блауберге, в Эльзасе, где определенные приемы лечения доказали свою благотворность в нескольких схожих случаях. Видимо, было молчаливо условлено, что он поедет один. Перед самым отъездом Шелдон, мисс Пратт и Клэр чаевничали с Себастьяном у него на квартире; он был оживлен и речист и поддразнивал Клэр, потерявшую свой скомканный носовой платок среди вещей, которые она укладывала в его светлом присутствии. Внезапно он дернул Шелдона за манжету (сам он никогда наручных часов не носил), глянул на время и вдруг зашепшил, хоть еще час оставался в запасе. Клэр не предлагала проводить его к поезду, зная, что он этого не любит. Он поцеловал ее в висок, и Шелдон помог ему снести чемодан (упоминал ли я уже, что за вычетом приходящей уборщицы и лакея, доставлявшего им еду из ближнего ресторана, прислуги Себастьян не держал?). После его ухода троица несколько времени сидела в молчании.

Внезапно Клэр поставила заварочный чайник и сказала: “По-моему, платок просто хотел отправиться с ним, и я очень не прочь воспользоваться этим намеком”.

– Не дури, – сказал м-р Шелдон.

– Почему бы и нет? – спросила она.

– Если ты о том, чтобы поспеть на этот же поезд, – начала мисс Пратт...

– Почему бы и нет, – повторила Клэр. – У меня есть сорок минут. Слетаю к себе, уложу то-се, прыгну в такси...

Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, неизвестно, но час или два спустя она позвонила Шелдону, который ушел домой, и с довольно жалким смешком сообщила, что Себастьян не пожелал даже, чтобы она побыла на платформе до отправления поезда. Я почему-то очень ясно вижу ее появление там, ее чемодан, ее губы, готовые раскрыться в веселой улыбке, ее слабые глаза, всматривающиеся в окна вагонов, высматривающие его и наконец находящие, или, возможно, он первым увидел ее... “Привет, вот и я”, – наверное, бодро сказала она, чуточку слишком бодро, быть может...

Он написал к ней через несколько дней, сообщив, что место очень приятное и чувствует он себя превосходно. Потом наступило молчание, и лишь когда Клэр послала тревожную телеграмму, пришла открытка с известием, что он прервал свое пребывание в Блауберге и проведет неделю в Париже перед тем, как вернуться домой.

На исходе этой недели он позвонил мне, и мы отобедали вместе в русском ресторане. Я не видел его с 1924 года, а был уже 1929-й. Он выглядел изнуренным, больным и из-за бледности казался небритым, хоть был только от парикмахера. На шее, сзади, сидел фурункул, залепленный розовым пластырем.

После нескольких его вопросов обо мне мы оба занялись трудными поисками темы для дальнейшего разговора. Я спросил, что случилось с той милой девушкой, с которой я видел его прошлый раз.

– С какой девушкой? – спросил он. – А, с Клэр. Да, с ней все в порядке. Мы вроде как женаты.

– Вид у тебя немного больной, – сказал я

– Ну и черт с ним, коли так. Будешь пельмени?

– Занятно, что ты еще помнишь, какие они на вкус, – сказал я.

– А почему бы мне и не помнить? – сухо спросил он.

Несколько минут мы молча ели. Потом пили кофе.

– Как, ты говорил, называется городок? Блауберг?

– Да, Блауберг.

<sup>13</sup> Мировая скорбь (нем.)

– Приятное место?

– Зависит от того, что ты называешь приятным, – сказал он, и челюсти его дрогнули, подавляя зевок. – Извини, – сказал он, – надеюсь, в поезде удастся немного поспать.

Он вдруг затеребил мое запястье.

– Половина девятого, – ответил я.

– Мне надо по телефону... – пробормотал он и с салфеткой в руке перемахнул ресторан. Минут через пять он вернулся, салфетка наполовину торчала из кармана пиджака. Я ее вытащил.

– Послушай, – сказал он, – мне ужасно неловко, но я должен идти. Совсем забыл о назначенной встрече.

“Меня всегда удручало, – пишет Себастьян Найт в “Утерянных вещах”, – что люди в ресторанах не замечают одушевленных тайн, которые подают им еду, принимают пальто и открывают для них двери. Я как-то напомнил дельцу, с которым завтракал несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, в ушах была вата. Он недоуменно взглянул на меня и сказал, что и женщины-то никакой не заметил. Человек, не способный увидеть заячьей губы водителя такси, потому что он куда-то спешит, – по-моему, одержим маниакальной идеей. Мне часто казалось, будто я сижу между слепцов и безумцев, осознавая, что только я один в их толпе задумываюсь о легкой, очень легкой хромоте шоколадницы”.

Когда мы вышли из ресторана и направились к стоянке такси, старик со слезящимися глазами поспешил большой палец и протянул то ли мне, то ли Себастьяну, то ли нам обоим рекламный листок, из тех, что он распространял. Никто из нас листка не принял, оба глядели перед собой, сумрачные мечтатели, пренебрегающие подношением.

– Что ж, всего доброго, – сказал я Себастьяну, поманившему машину.

– Ты бы как-нибудь навестил меня в Лондоне, – сказал он и оглянулся через плечо. – Постой минуту, – добавил он, – это не дело. Я оттолкнул нищего... – Он оставил меня и через мгновение вернулся с клочком бумаги в руке. Внимательно прочитал его, прежде чем выбросить.

– Тебя подвезти? – спросил он.

Я чувствовал, что он безумно спешит отделаться от меня.

– Нет, спасибо, – сказал я. Я не дослышал адреса, данного им шоферу, но помню, он просил ехать быстрее.

Когда он вернулся в Лондон... Но нет, нить повествования рвется, и мне придется просить других вновь связать оборванные концы.

Сразу ли заметила Клэр перемену? Сразу ли поняла – какую? Нужно ли нам строить домыслы, – о чем спросила она Себастьяна, что он ей ответил и что она сказала на это? Думаю, нет... Шелдон виделся с ними вскоре по возвращении Себастьяна и нашел, что он выглядит странно. Но он и раньше выглядел странно...

“В конце концов я встревожился”, – рассказывал м-р Шелдон. Он встретился с Клэр с глазу на глаз и спросил ее, как она полагает, все ли с Себастьяном в порядке.

– С Себастьяном? – сказала Клэр с медленной и страшной улыбкой. – Себастьян обезумел. Совсем обезумел, – повторила она, широко раскрыв бледные глаза.

– Он перестал со мной разговаривать, – добавила она сдавленным голосом.

Тогда Шелдон навестил Себастьяна и спросил у него, что происходит.

– А ваше ли это дело? – осведомился Себастьян с довольно противным высокомерием.

– Мне нравится Клэр, – сказал Шелдон, – и я хочу знать, почему она бродит, словно потерянная душа. – (Она приходила к Себастьяну каждый день и садилась в укромных углах, где никогда не сидела прежде. Иногда она приносила ему сладости или галстук. Сладости оставались нетронутыми, а галстук безжизненно виснул со спинки стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала, молча, так же, как и пришла.)

– Ну ладно, милейший, – сказал Шелдон, – довольно. Что вы с ней сделали?

Шелдон ничего от него не узнал. Все, что он знает, он знает от Клэр, а это сводится к малому. После возвращения в Лондон Себастьян получал русские письма от женщины, которую встретил в Блауберге. Она жила в том же отеле, что он. Более ничего не известно.

Через шесть недель (в сентябре 1929 года) Себастьян опять оставил Англию и отсутствовал вплоть до января следующего года. Где он был, никто не знает. Шелдон полагает, что, возможно, – в Италии, “потому что любовники обычно едут туда”. Он не упорствовал в этом предположении.

Объяснился ли Себастьян окончательно с Клэр или оставил ей, уезжая, письмо, – не ясно. Она удалилась так же тихо, как и пришла. Переменила квартиру, слишком близкую к жилью Себастьяна. В один унылый ноябрьский день мисс Пратт повстречала ее в тумане, возвращающуюся домой из конторы по страхованию жизни, в которой теперь служила Клэр. После этого девушки виделись довольно часто, но имя Себастьяна редко упоминалось между ними. Пять лет спустя Клэр вышла замуж.

Роман “Утерянные вещи”, в ту пору начатый Себастьяном, выглядит своего рода привалом в его литературных странствиях в поисках открытий: подведением итогов, пересчетом людей и вещей, потерянных в пути, определением курса; расседланные лошади, позвякивая, пасутся в темноте; отблеск лагерного костра; звезды над головой. Там есть короткая глава о крушении самолета (пилот и все пассажиры, за исключением одного, погибли); уцелевший, пожилой англичанин, найден фермером немного в стороне от места катастрофы сидящим на камне. Он сидит, скорчившись, олицетворение горя и муки. “Сильно вас ранило?” – спрашивает фермер. “Нет, – отвечает англичанин, – зуб. Всю дорогу болел”. Полдюжины писем – останки мешка с воздушной почтой – находят разбросанными по полю. Два из них – очень важные деловые послания, третье адресовано женщине, но начинается словами: “Дорогой Мортимер, в ответ на Ваше письмо от 6-го настоя...”, и касается размещения заказа; четвертое – поздравление с днем рождения; пятое – письмо шпиона, стальной секрет его упрятан в стоге пустой болтовни; последний конверт адресован торговой фирме, но содержит неверное письмо, любовное. “Это письмо причинит тебе боль, бедная моя любовь. Пикник наш окончен; на темной дороге полно ухабов, и даже самого малого из детишек в машине того и гляди стошнит. Дешевый дурак сказал бы тебе: нужно быть храброй. А впрочем, все, что я смог бы тебе наговорить в утешение и поддержку, наверняка свелось бы к манной кашке, ты знаешь, о чем я. Ты всегда это знала. Жизнь с тобою была волшебством, – и говоря “волшебство”, я понимаю щебет и шепот, и шелк, и мягкое, розовое “в” в начале, и то, как твой язык изгибался в долгом ленивом “л”. Наше со-бытие было аллитеративным, и думая обо всех мелочах, которые умрут теперь оттого, что мы не сможем делить их друг с дружкой, я испытываю чувство, будто и мы умерли тоже. Возможно, так это и есть. Понимаешь, чем огромнее было наше счастье, тем туманнее становились его границы, как если бы очерк его размывался и теперь растаял совсем. Я не перестал любить тебя, но что-то во мне умерло, и я не различаю тебя в тумане... Все это поэзия. Я тебе вру. Из малодушия. Ничего нет трусливей поэта с его обиняками. Думаю, ты уже догадалась, что к чему: дурацкая формула – “другая женщина”. Я отчаянно несчастлив с ней – вот тебе хоть одна, да правда. И думаю, об этой стороне дела ничего больше не скажешь.

Мне все время кажется, что в любви есть какой-то тайный изъян. Друзья могут поссориться и разойтись, родные тоже, но нет в этом той боли, той муки, той пагубы, которая слита с любовью. Никогда не выглядит дружба такой обреченной. Почему, в чем тут дело? Я не перестал любить тебя, но оттого, что я не могу, как прежде, целовать твое милое, сумрачное лицо, нам нужно расстаться, нам нужно расстаться. Почему это так? Что означает эта загадочная исключительность? Друзей можно иметь тысячу, но возлюбленную – только одну. Гаремы тут ни при чем, я говорю о танце, не о гимнастике. Или можно вообразить огромного турка, любящего каждую из четырехсот своих жен так же, как я – тебя? Есть лишь одно действительное число: единица. И любовь, как видно, – наилучший из показателей этой единственности.

Прощай, бедная моя любовь. Я никогда тебя не забуду и никем не смогу заменить. Нелепо пытаться уверить тебя, что ты была моей чистой любовью, а эта, другая страсть, – всего лишь комедия плоти. Все – плоть и все – чистота. Но одно говорю наверное: с тобой я

был счастлив, теперь я несчастен с другой. Стало быть, жизнь продолжается. Я буду шутить с приятелями в конторе, радоваться обедам (пока не получу несварения), читать романы, писать стихи, следить за акциями, – словом, делать все, что делал всегда. Но это не значит, что я буду счастлив без тебя... Каждая мелочь, которая напомнит мне о тебе, – неодобрительное выражение мебели в комнатах, где ты поглаживала подушки дивана и разговаривала с кочергой, каждый пустяк, на который мы оба смотрели, – будет вечно казаться мне половинкой скорлупки, половинкой монетки, вторую половину которой ты унесла с собой. Прощай. Уходи, уходи. Не пиши. Выйди за Чарли или за другого хорошего человека с трубкой в зубах. Забудь меня нынче, но помни потом, когда забудется горчайшая часть. Это пятно не от слез. Вечное перо мое развалилось, я пользуюсь грязной ручкой из грязного гостиничного номера. Здесь очень жарко, и я оказался не в силах покончить дело, которое должен был привести “к удовлетворительному разрешению”, как выражается этот осел Мортимер. По-моему, у тебя осталось несколько моих книг, – а впрочем, пусть их. Пожалуйста, не пиши. Л.”

Я верю, что если отвлечься в этом вымышленном письме от всего, относящегося до личности его подразумеваемого автора, то окажется, что многое в нем прочувствовано Себастьяном или даже написано им к Клэр. Была у него причудливая привычка наделять даже самых гротескных своих персонажей какой-то идеей, впечатлением или желанием – из тех, которыми он тешился сам. Письмо его героя было, возможно, шифром, прибегнув к которому, он высказал несколько истин о своих отношениях с Клэр. И я не возьмусь назвать другого писателя, искусство которого способно так заморочить, – заморочить меня, стремящегося высмотреть за писателем живого человека. Трудно различить свет личной истины в неуловимом мерцании выдуманного мира, но еще труднее постичь поразительный факт – человек, пишущий о том, что он взаправду испытывает в минуту писания, находит в себе силы, чтобы одновременно создать – и как раз из того, что гнетет его душу, – вымышленный и слегка нелепый характер.

Себастьян возвратился в Лондон в начале 1930 года и слег с сильнейшим сердечным припадком. Так или иначе, он все-таки продолжал писать “Утерянные вещи” – самую легкую его книгу, по-моему. Теперь, в рассуждении дальнейшего, нам следует уяснить, что его литературными делами всецело ведала Клэр. После ее ухода они основательно запутались. Во многих случаях Себастьян не имел ни малейшего представления о том, как обстоят дела, и о том, каковы в точности его отношения с тем или с этим издателем. Он был настолько несобран, до таких пределов несведущ, так безнадежно неспособен запомнить хотя бы одно имя, или адрес, или место, где у него лежит какая-то вещь, что попадал в совершенно нелепые положения. Как ни удивительно, девичья забывчивость Клэр сменялась, когда она распоряжалась Себастьяновыми делами, полной ясностью и твердостью цели; теперь все пошло кувырком. Он так и не научился стучать на машинке и был слишком нервен, чтобы начать учиться теперь. “Потешную гору” напечатали сразу два американских журнала, и Себастьян напрочь забыл, как его угораздило запродать рассказ двум разным людям. Была еще запутанная история с человеком, пожелавшим снять фильм по “Успеху” и заплатившим Себастьяну вперед (а он того не заметил – так невнимательно читал он письма) за укороченную и “усиленную” версию, делать которую Себастьян никогда и не помышлял. “Призматический фацет” снова лег на прилавки, но Себастьян едва ли об этом знал. Приглашения оставались без ответа. Телефонные номера оборачивались мороком, а изнурительные розыски конверта, на котором он записал тот или иной номер, выматывали его сильнее, чем написание главы. И к тому же мысль его растекалась, следуя по пятам за отсутствующей любовницей, ожидая ее призыва, – и призыв наконец приходил, или сам он уже не мог доле сносить ожидания, и тогда случалось то, что видел однажды Рой Карсуэлл: изможденный человек в пальто и ночных туфлях забирался в пульмановский вагон.

В начале этой поры и объявился м-р Гудмен. Мало-помалу Себастьян препоручил ему все свои литературные дела, испытав великое облегчение от встречи со столь дельным секретарем. “Обыкновенно я заставлял его, – пишет м-р Гудмен, – лежащим в постели, подобно угрюмому леопарду” (который отчего-то напоминает мне волка в ночном колпаке из “Красной Шапочки”)... “Никогда в моей жизни, – продолжает он в другом месте, – я не видел столь удрученного на вид существа. <...> Мне говорили, что французскому автору М.

Прусту, которому Найт сознательно или бессознательно подражал, также была присуща немалая склонность к определенному рода апатической, “интересной” позе...” И дальше: “Найт был очень худ, с бледной кожей и изнеженными руками, которые он с женской кокетливостью любил выставлять напоказ. Он как-то признался мне, что имеет обыкновение выливать в утреннюю ванну половину флакона французских духов, но при всем том выглядел он на редкость плохо ухоженным. <...> Подобно большинству писателей модернистов, Найт был чрезвычайно тщеславен. Раза два я заставал его за наклеиванием вырезок (это наверняка были рецензии на его книги) в роскошный и дорогой альбом, который он тут же прятал в ящик, отчасти, как видно, стыдясь, что позволил моему критическому оку увидеть плод его человеческой слабости. <...> Он часто выезжал за границу, я бы сказал, дважды в год, и надо думать, в “Веселый Пари”. <...> Тут, впрочем, он напускал на себя загадочность и всюю изображал байроническую томность. Я не могу не испытывать чувства, что поездки на континент образовывали часть его художественной программы <...> он был законченный 'poseur'<sup>14</sup>.”

Но истинное красноречие одолевает м-ра Гудмена, когда он вдается в более глубокие материи. Его идея состоит в том, чтобы показать и объяснить “роковую трещину, отделяющую Найта-художника от огромного, шумного мира вокруг” (треснуло, надо понимать, по обхвату). “Причиной гибели Найта была его несовместимость”, – восклицает м-р Гудмен и отщелкивает три точки. “Отчужденность – вот кардинальный грех в то время, когда растерянное человечество нетерпеливо взывает к своим писателям и мыслителям, требуя от них внимания, если не исцеления от своих язв и скорбей. <...> “Башня из слоновой кости” недопустима, если только она не переделана в маяк или в радиовещательную вышку. <...> В такое время... пышущее жгучими проблемами, когда... экономическая депрессия... отвергнутый... обманутый... простой человек... рост тоталитарного... безработица... следующая сверхвеликая война... новые аспекты семейной жизни... секс... структура Вселенной”. Мы видим, что интересы м-ра Гудмена широки. “Найт же, – продолжает он, совершенно не желал проявлять интереса к каким бы то ни было современным вопросам. <...> Когда к нему обращались с просьбой присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-либо имеющем важнейшее значение митинге или просто поставить свою подпись, между гораздо более славных имен, под каким-нибудь манифестом, выражающим вечную истину или протест против вопиющего произвола <...> он отказывался наотрез, несмотря на все мои уговоры и даже мольбы. Правда, в последней (и самой непонятной) своей книге он обрисовывает положение в мире, <...> но выбранный им угол зрения и аспекты, которые он отмечает, полностью отличны от тех, которых серьезный читатель естественным образом ожидает от серьезного автора. <...> Это все равно как если бы добросовестному исследователю жизни и механизмов деятельности некоторого огромного предприятия с дотошной обстоятельностью показывали дохлую пчелу, лежащую на подоконнике. <...> Каждый раз, как я привлекал его внимание к той или иной книге, потрясшей меня тем, что в ней содержался имеющий значение для всякого человека жизненный материал, он ребячливо отвечал, что это, мол, “дешевая трескотня”, или отпускал еще какое-либо совершенно неуместное замечание. <...> Он смешивал сольное с сильным, выводя их из латинского наименования солнца. Он не мог понять, что просто сидит в темном углу. <...> Впрочем, будучи сверхчувствительным (помню, как он кривился, когда я дергал себя за пальцы, щелкая суставами, – дурная привычка, посещающая меня в минуты раздумий), он, конечно же, понимал, что что-то не так <...> что он неуклонно теряет связь с жизнью. <...> и что выключатель в его солярии может и не сработать. Страдания, начавшиеся как реакция искреннего юноши на грубый мир, в который бросили пылкую юность, и которые позже стали выставляться напоказ, как модная маска периода его успеха как писателя, превратились ныне в новую уродливую реальность. На доске, украшавшей его грудь, нельзя уже было прочесть: Я одинокий художник; незримые персты заменили эту надпись другой: Я слеп”.

Я оскорбил бы проницательность читателя, возьмись я комментировать болтовню м-ра Гудмена. Если Себастьян и был слеп, его секретарь, уж во всяком случае, с восторгом ухва-

<sup>14</sup> Позер (франц.)

тился за роль твякающего и тянущего поводыря. Рой Карсуэлл, который в 1933 году писал портрет Себастьяна, рассказал мне, как он катался со смеху, слушая Себастьяновы рассказы о его отношениях с м-ром Гудменом. Весьма возможно, Себастьяну так и не достало бы духу избавиться от этой напыщенной личности, не стать последняя несколько чересчур предприимчивой. В 1934 году Себастьян написал Рою Карсуэллу из Канна, сообщив ему, что ненароком обнаружил (он редко перечитывал свои книги) замену эпитета, произведенную м-ром Гудменом в сванновском издании “Потешной горы”. “Я его выгнал в шею”, – добавлял он. М-р Гудмен скромно воздерживается от упоминания об этой мелкой подробности. Исчерпав запас накопленных им впечатлений, и заключив, что истинной причиной смерти Себастьяна было окончательное осознание им своего “человеческого, а следовательно, и художнического краха”, он бодро сообщает, что его служба в секретарях пришла к концу в связи с переходом в иную отрасль бизнеса. Больше я на книгу Гудмена ссылаться не стану. Я ее отменяю.

Но глядя на портрет, написанный Роем Карсуэллом, я, как мне кажется, различил слабое мерцание в глазах Себастьяна, при всей печали их выражения. Художник чудесно передал влажную мглу зеленовато-серого райка с его чуть более темным обводом и намеком на золотую россыпь вокруг зениц. Веки тяжелы и, возможно, чуть воспалены, и кажется, жилка-другая лопнула на глянцевином глазном яблоке. И глаза, и лицо написаны так, чтобы создать впечатление нарциссова отражения в прозрачной воде, – с легчайшей зыбью на впалой щеке, пущенной паучком-плавуном, который только что замер и теперь медленно сплывает назад. На отражение лба, наморщенного как у пристально всматривающегося человека, опустился увядший лист. Спутанные темные волосы надо лбом чуть смазаны еще одной зыбью, но прядь на виске успела поймать отсвет влажного солнца. Между прямых бровей лежит глубокая складка, другая идет от носа к плотно сжатому, сумрачному рту. Больше нет ничего, одна голова. Темные переливы теней облекают шею, как бы стирая верхнюю часть тела. Общий фон – таинственная синева с тонкой сеточкой веток в одном углу. Так Себастьян разглядывает себя в пруду.

– Я хотел намекнуть на женщину где-то за ним или выше, может быть, тень от руки, что-то такое... Но потом испугался, что вместо живописи получится рассказ.

– Да, похоже, никто о ней ничего не знает. Даже Шелдон.

– Она его угробила, и это все, что о ней можно сказать, разве нет?

– Нет, мне нужно знать больше. Мне все нужно знать. Иначе он останется недовершенным, как на вашем портрете. О, портрет замечательный, сходство чудесное, и мне страшно нравится этот паук-водомер. Особенно – косолапая тень на дне. Но ведь лицо – это только случайное отражение. В воду смотреть может всякий.

– А вам не кажется, что у него это получается особенно ладно?

– Да, я понимаю, о чем вы. И все же я должен найти ту женщину. Она – недостающее звено его эволюции, я обязан ее залучить, – наука требует.

– Ставлю эту картину, что вы ее не найдете, – сказал Рой Карсуэлл.

## Глава 13

Первым делом надлежало установить ее личность. Но с чего же начать розыски? Какими сведениями я располагаю? В июне 1929 года Себастьян останавливался в отеле “Бомон” в Блауберге и там познакомился с ней. Она русская. Никаких иных нитей у меня не было.

Я, подобно Себастьяну, отличаюсь нелюбовью к почтовым отправлением. Мне легче проехать тысячу миль, чем написать самое кратенькое письмецо, потом еще найти конверт, найти нужный адрес, купить нужную марку, отправить письмо (и рыться в мозгу, пытаюсь припомнить: надписал я его или нет?). Более того, в деликатном деле, к которому я приступал, переписка вообще исключалась. В марте 1936 года, после месячного пребывания в Англии, я навел в туристском агентстве справки и отправился в Блауберг.

Так вот где он проезжал, думал я, глядя на вымокшие поля, застланные белым туманом, в котором смутно плыли высокие тополя. Красноверхий городок притулился у подно-

жия светло-серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения захудалой маленькой станции, где невидимый скот уныло мычал в каком-то вагоне на запасном пути, и по отлогому склону, через парк, пахнувший влажной землей, поднялся к пригоршне отелей и санаториев. Людей совсем мало было вокруг, до “разгара сезона” было еще далеко, и с внезапным испугом я подумал, что отель может оказаться закрытым.

Но нет; пока мне, значит, везло.

Дом выглядел очень мило, с хорошо ухоженным парком и каштанами, готовыми зацвести. На вид в нем не могло поместиться больше пятидесяти человек – и это меня приободрило: я предпочитал ограниченный выбор. Управлял отелем седой господин с подстриженной бородкой и черными, бархатистыми глазами. Я приступил с большой осторожностью.

Для начала я сообщил, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, очень пришлось по душе это место, и что я сам думаю поселиться в отеле нынешним летом. Вероятно, мне следовало снять номер, чтобы, так сказать, постепенно снискать расположение, отложив расспросы до более благоприятного времени, но я почему-то решил, что дело удастся уладить сходу. Он сказал: да, он припоминает англичанина, который жил у них в 1929 году и каждое утро требовал ванну.

– Он ведь не очень легко сходился с людьми, не так ли? – поинтересовался я с напускным безразличием. – Все один да один?

– О, по-моему, он здесь был со своим отцом, – неуверенно сказал управляющий.

Несколько времени мы провозились, распутывая трех-четырёх англичан, которые останавливались в “Бомоне” за последние десять лет. Я понял, что он не очень-то ясно помнит Себастьяна.

– Позвольте мне быть откровенным, – сказал я без церемоний, – мне нужно выяснить адрес дамы, приятельницы моего брата, которая останавливалась у вас в то же время, что он.

Управляющий чуть приподнял брови, и я с испугом почувствовал, что дал каким-то образом маху.

– Зачем? – спросил он. (“Может, попытаться его подмазать?” – мелькнуло у меня в голове.)

– Я, впрочем, готов оплатить вам хлопоты, связанные с поисками необходимых мне сведений, – сказал я.

– Каких сведений? – спросил он. Он был старик туповатый и подозрительный – да не придется ему никогда прочесть эти строки.

– Я подумал, – терпеливо продолжал я, – что, может быть, вы будете настолько добры, что поможете мне выяснить адрес дамы, которая останавливалась у вас одновременно с мистером Найтом, то есть в июне 1929 года.

– Какой дамы? – спросил он обличительным тоном Льюискарролловой гусеницы.

– Я не знаю ее имени, – нервно ответил я.

– Так как же я его, по-вашему, найду? – спросил он, пожимая плечами.

– Она русская, – сказал я. – Вы, может быть, помните русскую даму – молодую – и, ну... красивую?

– Nous avons eu beaucoup de jolies dames<sup>15</sup>, – заявил он, становясь все более чопорным. – Их разве упомнишь?

– Ну, хорошо, – сказал я, – самое простое – позвольте мне заглянуть в ваши книги и выписать оттуда русские имена за июнь 1929 года.

– Их наверняка будет несколько, – сказал он. – Как же вы отличите нужное, когда вы его не знаете?

– Дайте мне имена и адреса, – произнес я в отчаянье, – а дальше уж мое дело.

Он глубоко вздохнул и покачал головой.

– Нет, – сказал он.

– Вы хотите сказать, что не ведете книг? – спросил я, стараясь говорить тихо.

– О, разумеется, веду, – сказал он. – Мое дело требует большого порядка в этих вещах.

<sup>15</sup> У нас было много красивых дам (франц.)



О да, разумеется, у меня имеются имена...

Удалившись вглубь кабинета, он вернулся с объемистым черным томом.

– Вот, – сказал он. – Первая неделя июля 1935 года... Профессор Отт с супругой, полковник Самен...

– Послушайте, – сказал я. – Меня не интересует июль 1935-го. Мне нужен... – Он хлопнул книгу и потащил ее назад.

– Я только хотел показать вам, – сказал он, не оборачиваясь, – показать вам (щелкнул замок), что книги у меня в полном порядке.

Он вернулся к столу и согнул пополам письмо, лежавшее на блокноте.

– Лето 1929 года, – взмолился я. – Почему вы не хотите показать нужные мне страницы?

– Нет-нет, – сказал он, – это не годится. Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы совершенно неизвестный мне господин беспокоил людей, которые были и еще будут моими клиентами. Во-вторых, я никак не пойму, отчего вам так не терпится найти женщину, которую вы не хотите даже назвать. И в-третьих, – я не желаю никаких неприятностей. У меня их и так предостаточно. В соседнем отеле в 1929 году одна швейцарская пара покончила с собой, – добавил он ни к селу ни к городу.

– Это ваше последнее слово? – спросил я.

Он кивнул и посмотрел на часы. Я развернулся на каблуках и хлопнул за собою дверь, – по крайности, попробовал хлопнуть, – дверь была пневматическая, из тех, что упорствуют, черт бы ее побрал.

Медленно я возвращался на станцию. Парк. Может быть, умирая, Себастьян вспоминал вон ту каменную скамью вон под тем кедром. Очерк вот этой горы мог оказаться росчерком некоего незабвенного вечера. Окружающее представилось мне громадной мусорной кучей, в которой, я знал это, затерялась неведомая драгоценность. Мое поражение было нелепо, ужасно, мучительно. Бездна поиски пути, ощупью, среди распадающихся вещей. Почему так неподатливо прошлое?

“И что же теперь мне делать?” Поток жизнеописания, по которому мне так не терпелось пуститься, в одной из его последних излучин заволокло бледным туманом; совсем как долину, которую я оглядывал. Могу ли я так и оставить его, а книгу все-таки написать? Книгу со слепым пятном. Незаконченную картину – бесцветные члены мученика со стрелами в боку.

Ощущение было такое, словно я заблудился и не знаю, куда идти. Я достаточно долго обдумывал способы поисков последней любви Себастьяна, чтобы понять: иного пути узнать ее имя практически не существует. Имя! Я чувствовал, что тотчас узнал бы его, повстречав в тех черных, засаленных фолиантах. Что ж, отступить, заняться сбором кое-каких мелочей, касающихся Себастьяна, в которых я еще нуждался и которые знал, где смогу раздобыть?

В таком замороченном состоянии я и сел в медленный местный поезд, который должен был доставить меня обратно в Страсбург. Оттуда я, вероятно, отправлюсь в Швейцарию... Но нет, я не в силах был одолеть зудливую боль моего поражения, как ни старался зарыться в бывшую при мне английскую газету: я, так сказать, упражнялся, читая лишь по-английски в предвидении работы, которую мне вот-вот предстояло начать... Вот только стоит ли начинать нечто, столь недоконченное в сознании?

В моем отделении я был один (вещь обыкновенная во второклассных вагонах поездов этого разряда), однако на следующей остановке вошел человек в кустистых бровях, на континентальный манер поздоровался по-французски, гортанно и хрипло, и уселся насупротив. Поезд тронулся прямо в закат. Я вдруг заметил, что мой визави приветливо мне улыбается.

– Чудесная погода, – сказал он и снял котелок, обнаружив розоватую лысину. – Вы англичанин? – спросил он, кивая и улыбаясь.

– Ну, в данный момент – да, – ответил я.

– Я вижу, видел, вы читали английскую журнал, – сказал он, указав пальцем, потом поспешно стянул желтовато-коричневую перчатку и указал еще раз (похоже, ему кто-то сказал, что тыкать перчаточным пальцем невежливо). Я что-то пробормотал и отвел глаза: я не любитель вагонной болтовни, а в ту минуту был и вовсе к ней не расположен. Он про-

следил мой взгляд. Низкое солнце зажгло множество окон огромного здания, которое неторопливо кружилось, открывая одну за другой громады своих дымоходов, пока поезд прощелкивал мимо.

– Это “Фламбаум и Рот”, – сказал человечек, – большая фабрикация, фабрика. Бумага.

Наступила недолгая пауза. Затем он поскреб крупный, отсвечивающий нос и наклонился ко мне.

– Я бывал, – произнес он, – Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкастль, – он посмотрел на палец, оставшийся несосчитанным.

– Да, – сказал он. – Игрушечное дело. Перед войной. И я играл в небольшой футбол, – прибавил он, заметив, возможно, что я гляжу на неровное поле с двумя голами, удрученно стоявшими по краям, – один лишился перекладины.

Он сожмурился; усики встопорчились.

– Знаете, как-то раз, – сказал он и зашелся в беззвучном смехе, – знаете, как-то раз я пускаю, пустил мячик из “аут” прямо в гол.

– О, – вяло сказал я, – и попали?

– Ветер попал. Это была робинзоннада!

– Что?

– Робинзоннада – восторженный фокус. Да... А вы далеко ли едете? – осведомился он вкрадчивым, сверхвежливым тоном.

– Ну, – сказал я, – дальше Страсбурга на этом поезде не уедешь, не так ли?

– Нет, я иметь, имею в виду вообще. Вы путешествуете?

Я отвечал утвердительно.

– Во что? – спросил он, чуть вбок наклоняя голову.

– Да, пожалуй, что в прошлое, – ответил я.

Он кивнул, как если бы понял. Затем, снова склонившись ко мне, тронул меня за колено и сказал:

– Я теперь продаю козу, – знаете, – козаные мячики, пусть другие играют. Старый! Силы нет! Еще намордники, всякие такие штуки.

Он опять легко потрепал меня по колену.

– Но раньше, – сказал он, – прошлый год, четыре прошлых года, я был в полиции, – нет-нет, не сразу, не совсем... В штатском. Вы понимаете?

Я взглянул на него с внезапным интересом.

– Погодите-ка, – сказал я, – а ведь вы мне подали мысль...

– Да, – сказал он, – если вы ищете помощь, помочи, хорошую козу, cigaretteétui<sup>16</sup>, совет, боксовые перчатки...

– Пятое и, возможно, первое, – сказал я.

Он взял котелок, лежавший рядом на сидении, аккуратно его надел (адамово яблоко заходило вверх-вниз) и затем, сияя улыбкой, резко его приподнял, приветствуя меня.

– Меня зовут Зильберманн, – сказал он и протянул руку. Я пожал ее и также назвал.

– Да, но это не английское, – вскричал он, хлопнув себя по колену, – это русское! Гаврит парусски? Я знал несколько разных слов... Постойте! Да! Куколка – мелкая кукла.

С минуту он молчал. Я все вертел в голове идею, которую он мне подал. Может, обратиться в частное сыскное агентство? А сам этот человечек, не будет ли он полезен?

– Реба! – вскрикнул он. – Это другое. Фиш, так? и... Брат, милли брат – дорогой бруддер.

– Мне пришло в голову, – сказал я, – что, может быть, если я расскажу вам о безвыходном положении, в котором я...

– Ну и все, – сказал он, вздохнув. – Я говорю (вновь пошел пересчет пальцев) литовский, немецкий, английский, французский (и снова остался большой палец). Русский забыл! Сразу! Целиком!

– Вы не могли бы... – начал я.

– Все, – сказал он. – Козаные ремешки, кошелки, записные книги, советы.

<sup>16</sup> Портсигар (франц.)

– Советы, – сказал я. – Понимаете, я пытаюсь найти человека... русскую даму, которой никогда не видел и не знаю даже по имени. Я знаю только, что она какое-то время жила в Блауберге, в одном отеле.

– А, хорошее место, – сказал господин Зильберманн, – очень хорошее, – и в знак глубокого одобрения приспустил уголки губ. – Хорошая вода, прогулки, казино. Вы хотите, чтобы я сделал – что?

– Ну, – сказал я, – мне бы хотелось сначала узнать, что вообще следует делать в подобных случаях.

– Лучше всего оставить ее в покое, – быстро сказал господин Зильберманн.

Тут он прянул головою вперед, и кусты у него на лбу шевельнулись.

– Забудьте ее, – сказал он. – Бросьте из головы. Это опасно и бесполезно. – Он что-то смахнул с моего колена, кивнул и снова откинулся назад.

– Это вас пусть не заботит, – сказал я. – Вопрос в том “как”, а не “зачем”.

– Всякое “как” имеет свое “зачем”, – сказал господин Зильберманн. – Вы найти, нашли ее фигуру, ее картину, теперь хотите найти ее саму сами? Это не любовь. Пфа! Поверхность!

– Да нет, – воскликнул я, – ничего похожего. Я и малейшего представления не имею, как она выглядит. Но понимаете, мой покойный брат любил ее, и я хочу услышать ее рассказ о нем. В сущности, все очень просто.

– Печально! – сказал господин Зильберманн и покачал головой.

– Я хочу написать о нем книгу, – продолжал я, – и мне интересна каждая подробность его жизни.

– От чего он болел? – хрипло спросил господин Зильберманн.

– Сердце, – сказал я.

– Сердце – это плохо. Слишком много предупреждений, много... генеральных... генеральных...

– Генеральных репетиций смерти. Да.

– Да. И старый?

– Тридцать шесть. Он писал книги, под фамилией своей матери. Найт. Себастьян Найт.

– Напишите сюда, – сказал господин Зильберманн, вручая мне необычайно красивую записную книжку с вложенным в нее восхитительным серебристым карандашом. Со звуком “тр-р-р-рк” он аккуратно вырвал страничку, спрятал ее в карман и снова вручил мне книжку.

– Вам нравится, нет? – спросил он с встревоженной улыбкой. – Вы позволите, маленький презент?

– Право, – сказал я, – вы так добры...

– Ничего, ничего, – произнес он, всплескивая руками. – Так, что вы хотите?

– Я хочу, – ответил я, – получить полный список людей, которые останавливались в отеле “Бомон” в июне 1929 года. Еще мне понадобятся кое-какие частности – кто они, по крайности женщины. Мне нужны их адреса. Нужна уверенность, что под иностранной фамилией не скрыта русская женщина. Потом я выберу наиболее вероятную или вероятных и...

– И постараетесь с ними связаться, – кивая, сказал господин Зильберманн. – Хорошо! Очень хорошо! Я имел, имею всех этих господ из отелей вот тут (он показал мне ладонь), и все будет просто. Ваш адрес, попрошу.

Он извлек еще одну записную книжку, на этот раз изрядно потрепанную, исписанные листки которой осыпались, словно осенние листья. Я добавил, что не двинусь из Страсбурга, не повидавши его.

– Пятница, – сказал он. – Шесть, пунктуально.

Затем удивительный человек откинулся на сиденье, скрестил руки и закрыл глаза, как если бы достигнутое соглашение каким-то образом поставило точку в нашей беседе. Муха старательно изучала его лысое чело, но он не шелухнулся. Спал он до самого Страсбурга. Там мы простились.

– Послушайте, – сказал я, – вы должны назвать мне ваш гонорар... Я хочу сказать, что готов заплатить вам сколько вы сочтете нужным... А может быть, вы хотите получить что-то вперед...

– Вы мне пришлете книгу, – сказал он, поднимая толстый пальчик. – И оплатите вероятные растраты, – прибавил он шепотом. – Определенно!

## Глава 14

Вот так и достался мне список в сорок два имени, между которыми странно милым и затерянным показалось имя Себастьяна (S. Knight, 36 Oak Park Gardens, London, SW). Отчасти поразило меня (приятно) и то, что в нем содержались также все адреса, выставленные супротив имен: Зильберманн торопливо пояснил, что в Блауберге часто умирают. Из сорока одного неизвестного тридцать семь “не приводили к вопросу”, как выразился маленький человек. Трое из них (незамужние женщины), точно, носили русские имена, но из этих две были немки, а третья эльзаска: они часто останавливались в отеле. Была еще дама загадочная, Вера Разин; Зильберманн, однако ж, знал наверное, что она француженка; что, собственно говоря, она балерина и любовница страсбургского банкира. Еще имелась престарелая польская пара, ее мы опустили без колебаний. Остаток этой “неподвопросной” группы (тридцать один человек) составляли двадцать солидных мужчин; из них лишь восьмеро были женаты или, во всяком случае, привезли с собой жен (Эмму, Хильдегард, Полину и проч.), и Зильберманн божился, что это все дамы немолодые, почтенные и в высшей степени нерусские.

Стало быть, нам оставалась четверка имен:

Мадемуазель Лидия Богемски, адрес парижский. Провела в отеле девять дней в начале проживания там Себастьяна; управляющий вовсе ее не помнил.

Мадам де Речной. Отбыла из отеля в Париж перед самым отъездом туда Себастьяна. Управляющий припомнил, что это была молодая модная дама, очень щедрая на чаевые. Частица “де”, как я знал, обозначает определенную разновидность россиян, склонных подчеркивать свое дворянство, хотя, в сущности, французская particule<sup>17</sup> перед русской фамилией не только глупа, но и незаконна. Она могла быть авантюристкой; могла быть женою сноба.

Элен Гринштейн. Фамилия еврейская, но не германо-еврейская, несмотря на “штейн”. Вот эта “и” в “грин”, вытеснившая прирожденную “у”, свидетельствовала о русском произрастании. Появилась за неделю до отъезда Себастьяна и оставалась в отеле дольше него на три дня. Управляющий сказал, что она была хорошенькая. Она уже останавливалась у них однажды; проживала в Берлине.

Элен фон Граун. Настоящая немецкая фамилия. Однако управляющий был положительно уверен, что во время пребывания в отеле она несколько раз пела русские песни. Она обладала великолепным контральто, сказал он, восхитительная женщина. Прожила ровно месяц и уехала в Париж за пять дней до Себастьяна.

Все эти подробности вместе с четверкой адресов я обстоятельно записал. Любая из четверых могла оказаться той, которая мне требовалась. Я сердечно поблагодарил господина Зильберманна, сидевшего предо мною со шляпой на сведенных коленях. Он вздохнул, глядя на носки своих черных ботиночек, украшенных старыми мышинными гетрами.

– Я это сделал, – сказал он, – потому что вы для меня симпатичны. Но... (он взглянул на меня с кроткой мольбой в ярких карих очах) но, прошу вас, я думаю, это бесполезно. Нельзя увидеть изнанку луны. Прошу вас, не ищите дженцину. Что прошлое, то прошлое. Она не помнит вашего бруддера.

– Я ей напомню, будьте уверены, – мрачно сказал я.

– Как знаете, – пробормотал он, расправляя плечи и застегивая пальто. Он встал. – Приятной езды, – сказал он без обычной своей улыбки.

– Но постойте-ка, господин Зильберманн, нам ведь кое-что нужно уладить. Сколько я вам должен?

– Да, это корректно, – произнес он, снова усаживаясь. Момент, – он раскрутил самопишущую ручку, набросал несколько цифр, пригляделся к ним, постукивая колпачком по зубам: – Да, шестьдесят восемь франков.

– Однако немного, – сказал я. – А может быть, вы...

– Погодите, – воскликнул он, – это несправедливо. Я позабыл... вы сэкономили эту за-

<sup>17</sup> Частица (франц.)

писную книгу, эту, которую я давать, давал вам?

– Да, а как же? – подтвердил я. – Собственно, я ею уже пользуюсь. Видите ли... я думал...

– Тогда это не шестьдесят восемь, – сказал он, быстро переправляя слагаемые. – Тогда это есть... Это есть только восемнадцать, потому что книга стоит пятьдесят. Итого – восемнадцать франков. Путевые растраты...

– Но как же, – сказал я, несколько ошарашенный его арифметикой...

– Нет, это теперь правильно, – сказал господин Зильберманн.

Я отыскал монету в двадцать франков, хоть с удовольствием отдал бы ему и в сто раз больше, если б он только позволил.

– Так, – сказал он, – теперь с меня причитается... Да, правильно. Восемнадцать и два получается двадцать. – Он сдвинул брови. – Да, двадцать. Это вам. – И выложив мою монету на стол, он удалился.

Любопытно узнать, куда я пошлю ему книгу, когда она будет готова: смешной человечек не оставил мне адреса, а у меня голова была слишком забита другими вещами, чтобы позаботиться его спросить. Но если он когда-либо наткнется на “Подлинную жизнь Себастьяна Найта”, мне хочется, чтобы он знал, как я благодарен ему за помощь. И за записную книжку. Ныне она уже изрядно заполнилась, и я закажу новую стопку страниц, когда закончатся эти.

После ухода господина Зильберманна я долго изучал четыре адреса, которые он столь чудодейственно для меня раздобыл, и решил начать с берлинского. Если там меня постигнет неудача, я буду готов сразиться с тройкой парижских возможностей, не предпринимая еще одной дальней поездки, тем пуще изматывающей, что я наверняка уже буду знать: разыгрывается последняя карта. Если ж, напротив, мне повезет с первой попытки... Впрочем, не важно... Судьба щедро наградила меня за это решение.

Крупные мокрые хлопья косо летели вдоль Пассауэр-штрассе в западной части Берлина, когда я подходил к некрасивому старому дому с фасадом, наполовину укрытым под маской подмостей. Я постучал в стекло каморки привратника, резко отъехала муслиновая занавеска, толчком растворилось оконце, и толстая краснощекая старуха хрипло уведомила меня, что фрау Элен Гринштейн живет в этом доме. Со странным, легким ознобом ликования я стал подниматься по лестнице. “Гринштейн”, сказала медная дверная табличка.

Безмолвный мальчик в черном галстуке и с бледным насупленным лицом впустил меня и, не спросив даже имени, повернулся и ушел коридором. Вешалку в маленькой прихожей заполонили пальто. На столе промеж двух солидных цилиндров лежал букет снежно-влажных хризантем. Поскольку выходить ко мне никто, похоже, не собирался, я стукнул в одну из дверей, приотворил ее и тут же закрыл. Я мельком увидел темноволосую девочку, спавшую на диване, укрывшись кротовой шубкой. С минуту я постоял посреди прихожей. Вытер лицо, еще мокрое от снега. Висморкался. И наконец отважился двинуться по коридору. За приоткрытой дверью слышались негромкие голоса, русский говор. В двух больших комнатах, соединенных подобием арки, было довольнолюдно. Одно-два лица неуверенно оборотились ко мне, когда я вошел, но в остальном мое появление ни малейшего интереса не вызвало. На столе стояли стаканы недопитого чаю и тарелка с какими-то крошками. Человек в углу читал газету. Сидела у стола женщина в серой шали, подперевши щеку рукой с каплями слез на запястье. Еще двое-трое сидели, не двигаясь, на диване. Девочка, похожая на ту, которую я видел спящей, гладила старого пса, свернувшегося на кресле. Кто-то начал вдруг то ли хохотать, то ли задыхаться в смежной комнате, где сидело или прохаживалось еще больше народу. Прошел со стаканом воды мальчик, встречавший меня в прихожей, и я по-русски спросил его, можно ли мне поговорить с госпожой Еленой Гринштейн.

– Тетя Елена, – сказал он в спину худощавой брюнетке, склонившейся к старику, который горбился в кресле. Она подошла ко мне и пригласила пройти в маленькую гостиную по другую сторону коридора. Она была очень молода и изящна, с маленьким припудренным лицом и удлиненными, ласковыми глазами, казалось, вытянутыми к вискам. Черный джемпер; руки, такие же нежные, как шея.

– Как это ужасно... – прошептала она.

Я глуповато ответил, что, боюсь, явился не вовремя.

– Ох, – сказала она. – А мне показалось... – Она присмотрелась ко мне. – Присядьте, – сказала она. – Мне показалось, словно бы я только что видела ваше лицо, на похоронах... Нет? Вот, видите, зять мой умер и... Нет-нет, сидите. Ужасный был день.

– Я не хочу вам мешать, – сказал я. – Я, право, пойду... Я только хотел поговорить с вами об одном моем родственнике... я полагаю, что вы его знали... в Блауберге... ну, да не суть важно...

– Блауберг? я там бывала дважды, – сказала она, и лицо ее дернулось оттого, что где-то зазвонил телефон.

– Его звали Себастьян Найт, – сказал я, глядя на ее неподкрашенные, нежные, дрожащие губы.

– Нет, я никогда не слышала этого имени, – сказала она, – нет.

– Он был англичанин, наполовину, – сказал я, – писатель.

Она покачала головой и обернулась к двери, отворенной насупленным мальчиком, ее племянником.

– Соня придет через полчаса, – сказал он. Она кивнула, и он ушел.

– Я ведь, собственно, никого в отеле не знала, – продолжала она. Я поклонился и извинился вторично.

– Да, но как же ваше-то имя? – спросила она, вглядываясь в меня неяркими, ласковыми глазами, чем-то напомнившими мне Клэр. – Вы, кажется, назвались, но у меня нынче голова словно в тумане... Ах, – сказала она, когда я ответил, – а вот это звучит знакомо. В Петербурге не погиб ли на дуэли человек с такой фамилией? Ах, ваш отец? Понимаю. Пойдите минутку. Кто-то... прямо на днях... кто-то вспоминал про эту историю. Как странно... Всегда вот так, кучей. Да... Розановы... Они знавали вашу семью, ну, и так далее...

– У брата был одноклассник по фамилии Розанов, – сказал я.

– Вы посмотрите их в телефонной книге, – торопливо продолжала она, – понимаете, я их не очень близко знаю, а что-то искать сейчас я совершенно не в силах.

Ее отозвали, и я одиноко побрел в прихожую. Там я нашел пожилого господина, задумчиво сидевшего, дымя сигарой, на моем пальто. Поначалу он никак не мог взять в толк, что мне от него нужно, но после рассыпался в извинениях.

Почему-то я сожалел, что не Елена Гринштейн оказалась той женщиной. Впрочем, она, разумеется, и не могла оказаться той, которая столько несчастий принесла Себастьяну. Девушки, подобные ей, не ломают жизнь мужчины – они ее строят. Подумайте, вот она твердо правит домом, который разрывается от горя, находя при этом возможным заняться фантастическим делом человека, совершенно ей ненужного и незнакомого. И она ведь не только выслушала меня, она дала мне совет, которому я тогда же и последовал, и пусть люди, с которыми я познакомился, никакого отношения к Блаубергу и к неизвестной женщине не имели, мне открылись бесценнейшие страницы жизни Себастьяна. Разум, более систематический, нежели мой, поместил бы их в начале книги, однако мои изыскания обзавелись уже собственной логикой и собственной магией, и хотя временами я против воли своей убеждался, что они, эти поиски, постепенно перерастают в сон, перенимающий канву реальности, чтобы плести по ней собственные фантазии, должен признать, что вели меня верным путем, и что, стремясь передать жизнь Себастьяна, я ныне обязан следовать тем же ритмическим чередованиям.

Видимо, закон некоей странной гармонии поместил встречу, относящуюся к первой, юношеской любви Себастьяна, в такой близости с отголосками его последней, темной любви. Два лада его бытия вопрошают один другого, и ответ – это сама его жизнь, и ближе к правде о человеке подойти невозможно. Ему было шестнадцать, ей тоже. Свет гаснет, поднимается занавес, и открывается летний русский пейзаж: излука реки, наполовину затененной темными елями, растущими на обрывистом, глинистом берегу и почти достающими черными отражениями другого берега, пологого, солнечного и душистого, в болотных цветах и в серебристых метелках трав. Себастьян, с непокрытой, коротко стриженной головой, в шелковой вольной рубаше, льнущей то к груди, то к лопаткам, смотря по тому, откидывается он или подается вперед, с силой гребет в лодке, выкрашенной сверкающей зеленой краской. Девушка сидит у руля, но мы оставим ее бесцветной: лишь очертания, белый облик, не расцвеченный живописцем. Темно-синие стрекозы порхают там и сям, опускаясь на плоские

листья кувшинок. В красной глине крутого обрыва вырублены имена, даты и даже лица; и стрижи стрелой вонзаются в норы, прорезанные в ней, и вылетают наружу. Зубы у Себастьяна блестят. Потом, когда он перестает грести и оглядывается, шлюпка с шелковым шелестом вскальзывает в камыши.

– Рулевой из тебя никакой, – говорит он.

Сцена меняется: иная излучина той же реки. Тропинка подходит к самому краю воды, медлит, колеблется и поворачивает, огибая неотесанную скамью. Еще не за вечерело, но воздух уже золотист, и мошкара исполняет незамысловатый туземный танец в солнечном луче, просквозившем листву осины, уже совсем, совсем успокоенной, забывшей наконец об Иуде.

Себастьян сидит на скамейке и читает вслух из черной тетради английские стихи. Внезапно он замолкает: немного левее, едва заметная над водой, медленно уплывает русая головка русалки, и длинные косы плывут ей вслед. Затем на другом берегу возникает голый купальщик, облегчает нос, помогая себе большим пальцем: это долгогривый деревенский батюшка. Себастьян продолжает читать сидящей рядом девушке. Художник еще не заполнил белого облика, тронув лишь загорелую тонкую руку, по внешней поверхности ее от запястья до локтя искрится пушок.

Снова, как в Байроновом сне, меняется сцена. Ночь. Небо усеяно звездами. Через многие годы Себастьян напишет, что созерцание звезд вызывает у него тошноту и брезгливость, как бывает, когда видишь вспоротое брюхо животного. Но пока Себастьян еще этого не сказал. Очень темно. Ничего нельзя различить из того, что является, вероятно, аллеей парка. Темная глыба на темной глыбе, и где-то ухает филин. Из бездны мрака вдруг всплывает зеленоватый кружок: светящийся циферблат (в более зрелые годы Себастьян часов не одобрял).

– Тебе уже пора? – спрашивает его голос.

Последняя перемена: пролетает клин журавлей, их нежные стоны тают в бирюзовом небе над порыжелым березняком. Себастьян, пока еще не одинокий, сидит на пепельно-белом стволе упавшего дерева. Его велосипед отдыхает, поблескивая спицами в листьях черного папоротника. Плавно проносится мимо и садится на пень траурница, обмахиваясь бархатистыми крыльями. Завтра обратно в город, в понедельник начинается школа.

– Значит, конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеть друг друга? – спрашивает он во второй или в третий раз. Ответа нет. – Ты правда думаешь, что влюбилась в этого студента? – Очерк девушки остается пустым, за исключением руки и узкой смуглой кисти, играющей велосипедным насосом. Рукояткой насоса она неторопливо выводит на мягкой земле слово “yes”<sup>18</sup> – по-английски, чтобы сделать ответ помягче.

Звонок, занавес опускается. Да, это все. Так мало и так размыкает душу. Никогда больше не сможет он спросить мальчика, ежедневно сажающегося за соседнюю парту: “А как твоя сестра?” Даже у старой мисс Форбс, еще иногда заходящей к нам, нельзя ему будет узнать о девочке, которой она также давала уроки. Как же ступит он новым летом на эти тропинки и, наблюдая закат, как спустится на велосипеде к реке? (Впрочем, новое лето было по преимуществу посвящено поэту-футуристу Пану.)

По случайному совпадению обстоятельств именно брат Наташи Розановой и отвез меня на вокзал Шарлоттенбург, чтобы я поспел на парижский скорый. Я сказал ему, как интересно мне было поговорить с его сестрой, ныне – располневшей матерью двух мальчуганов, – о далеком лете в стране наших снов, в России. Он отвечал, что совершенно доволен своей работой в Берлине. Я попытался, как тщетно пытался уже, завести разговор о школьных годах Себастьяна.

– У меня жутко плохая память, – ответил он, – да и вообще я слишком занят, чтобы разводить сантименты по поводу такой ерунды.

– Но право же, право, – вы ведь можете припомнить какие-то яркие мелочи, мне все сгодится...

Он рассмеялся:

<sup>18</sup> Да (англ.)

– Да ну, – сказал он, – разве вы не потратили только что несколько часов на разговоры с сестрой? Она обожает прошлое, верно? Говорит, вы собираетесь поместить ее в книгу, прямо такой, как в те дни, правду сказать, она этого ждет не дожидается.

– Прошу вас, постарайтесь хоть что-нибудь вспомнить, – упрямо настаивал я.

– Да говорю же я вам, что ничего не помню, странный вы человек. Напрасно стараетесь. Нечего мне вам рассказать, кроме обычной ерунды – шпаргалки, зубрежка, какое было прозвище да у какого учителя... Наверное, славное было время... Но знаете, ваш брат... как бы это сказать?.. вашего брата в школе не очень-то жаловали...

## Глава 15

Читатель, верно, уже заметил, что я старался привнести в эту книгу как можно меньше собственной моей персоны. Я старался не ссылаться на обстоятельства моей жизни (хотя иной намек там и сям мог бы иногда прояснить подоплеку моих изысканий). Поэтому я не стану останавливаться в этом месте моего повествования на некоторых деловых затруднениях, испытанных мною при появлении в Париже, где у меня был более или менее постоянный дом; они никак не связаны с моими поисками, и если я и поминаю их мимоходом, то лишь из желания подчеркнуть, что попытки найти последнюю любовь Себастьяна так поглотили меня, что я беспечально махнул рукой на любые неприятности, которые мог навлечь на меня столь длительный отпуск.

Я не жалел, что начал с берлинского следа. Во всяком случае, он позволил мне получить представление об иной главе Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно из имен было вычеркнуто, у меня оставались еще три шанса. Парижский телефонный справочник осведомил меня, что “Граун (фон), Элен” и “Речной, Поль” (“де”, я заметил, отсутствует) отвечают адресам, которыми я владел. Перспектива встречи с мужем была неприятна, но неотвратима. Третью даму, Лидию Богемски, игнорировали оба указателя, то есть и телефонная книга, и тот, другой шедевр Боттэна, в котором адреса размещены в соответствии с улицами. Как бы там ни было, имевшийся у меня адрес мог мне помочь до нее добраться. Я хорошо знал мой Париж и потому сразу увидел наиболее экономный в рассуждении времени порядок, в котором мне надлежало расположить мои визиты, ежели я желал управиться с ними в один день. Прибавлю, на случай, если читателя удивит напористость моих действий, что телефонные переговоры мне неприятны в той же мере, в какой и писание писем.

Дверь, у которой я позвонил, открыл худой, высокий мужчина, взлохмаченный, без пиджака, в рубашке без ворота с медной запонкой на душе. В руке он держал шахматную фигуру, черного коня. Я поздоровался, по-русски.

– Заходите, заходите, – сказал он радостно, как будто ждал меня.

– Я такой-то, – сказал я.

– А я, – вскричал он, – Пал Палыч Речной, – и от души расхохотался, словно сказал удачную шутку. – Не угодно ли, – продолжал он, указывая конем на отворенную дверь.

Я очутился в скромной комнате со швейной машинкой в углу и с запашком льняного белья в воздухе. Мощного сложения мужчина бочком сидел у стола, на котором была расстелена клеенчатая шахматная доска со слишком крупными для клеток фигурами. Он смотрел на них искоса, и пустой папиросный мундштук в углу его рта смотрел в противную сторону. На полу стоял на коленях хорошенький мальчик лет четырех-пяти, окруженный крохотными автомобильчиками. Пал Палыч хватил по столу черным конем, и у коня отлетела головка. Черный аккуратно прикрутил ее на место.

– Присаживайтесь, – сказал Пал Палыч, – Это мой двоюродный брат, – прибавил он. Черный склонил голову. Я присел на третий (и последний) стул. Ребенок подобрался ко мне и молча показал новенький красно-синий карандаш.

– Я бы мог взять твою туру, если бы захотел, – мрачно сказал Черный, – но у меня есть ход получше.

Он приподнял ферзя и бережно втиснул его в пригоршню пожелтелых пешек, из коих одна изображалась наперстком.

Молниеносно двинув слона, Пал Палыч ферзя снял. После чего зашелся от смеха.



– Ну так, – спокойно сказал Черный, когда Белый отсмеялся, – вот ты и влип. Шах, голубчик.

Пока они спорили о позиции и Белый пытался взять ход обратно, я оглядывал комнату. Я отметил портрет того, что было некогда Царствующей Семей. И усы знаменитого генерала, несколько лет назад заеденного москочитами. Я отметил также вспученные пружины клоповьего цвета оттоманки, служившей, сколько я понял, трехспальной кроватью – мужу, жене и ребенку. На миг цель моего прихода представилась мне до безумия нелепой. Еще я почему-то вспомнил также тур потусторонних визитов Чичикова в гоголевских “Мертвых душах”. Мальчик рисовал для меня машинку.

– Я к вашим услугам, – сказал Пал Палыч (я понял, что он проиграл, Черный укладывал фигуры в старую картонку – все, кроме наперстка). Я сказал то, что предусмотрительно подготовил загодя: именно, что я хотел повидать его жену, поскольку она была в дружбе с некоторыми... ну, в общем, с моими немецкими друзьями. (Я опасался слишком рано упомянуть имя Себастьяна.)

– Тогда вам придется малость обождать, – сказал Пал Палыч. – У нее, понимаете, дела в городе. Я думаю, она с минуты на минуту вернется.

Я решился ждать, хоть и чувствовал, что сегодня мне навряд ли доведется поговорить с его женою с глазу на глаз. Я, впрочем, надеялся, что несколько искусных вопросов помогут мне сразу установить, знала ли она Себастьяна; а там уж, мало-помалу, я сумею ее разговаривать.

– А мы тем временем таянем коньячку, – сказал Пал Палыч.

Мальчик, сочтя, что я проявил достаточный интерес к его картинкам, отошел к своему дяде, который тут же усадил его к себе на колени и принялся рисовать – с невероятной скоростью и изяществом – гоночный автомобиль.

– Да вы просто художник, – сказал я, чтобы что-то сказать.

Пал Палыч, полоскавший стаканы в махонькой кухонке, засмеялся и крикнул через плечо:

– Он у нас разносторонний гений. Играет на скрипке, стоя на голове, за три секунды перемножает телефонные номера и расписывается вверх ногами, не изменяя почерка.

– А еще он водит такси, – сказал ребенок, болтая тонкими, грязными ножками.

– Нет, я с вами пить не буду, – сказал дядя Черный, когда Пал Палыч поставил стаканы на стол. – Я, пожалуй, с мальчиком прогуляюсь. Где его одежда?

Отыскали пальтишко, Черный увел мальчика. Пал Палыч разлил коньяк и сказал:

– Вы уж меня простите за эти стаканы. В России я был богат, и в Бельгии, десять лет назад, опять разбогател, да вот потом разорился. Ну, ваше здоровье.

– Это ваша жена шьет? – спросил я, чтобы завязать разговор.

– А, да, затеяла портняжить, – сказал он со счастливым смехом. – Я-то наборщик, да вот только что потерял работу. Она наверняка с минуты на минуту вернется. Вот уж не знал, что у нее есть друзья среди немцев, – добавил он.

– По-моему, – сказал я, – они с ней познакомились в Германии или в Эльзасе, что ли? – Он сноровисто наполнял стаканы, но тут вдруг застыл и уставился на меня, разинув рот.

– Боюсь, тут какая-то ошибка, – воскликнул он. – Это, должно быть, первая моя жена. Варвара Митрофанна сроду кроме Парижа нигде не бывала, – ну, еще в России, конечно, – а сюда попала из Севастополя через Марсель. – Он осушил свой стакан и хохотнул.

– Хорошо пошло, – сказал он, с любопытством разглядывая меня. – А мы с вами прежде не встречались? Сами-то вы мою первую знаете?

Я покачал головой.

– Так это вам повезло, – закричал он. – Черт знает как повезло. А эти ваши друзья-немцы отправили вас гоняться за привидением, потому что вам ее нипочем не найти.

– Отчего же? – спросил я, испытывая все больший интерес.

– Да оттого, что как мы разошлись несколько лет назад, так я ее больше и не видел. Кто-то ее в Риме встречал, кто-то в Швеции, – да я и в этом не уверен. Может, она там, а может, – в аду. Мне-то все едино.

– А вы не могли бы подсказать какой-либо способ ее отыскать?

– Никакого, – сказал он.

– Общие знакомые?

– Это были ее знакомые, не мои, – ответил он с содроганием.

– Фотографии или еще чего-нибудь у вас не осталось?

– Слушайте, – сказал он, – вы куда это клоните? Полиция, что ли, ей занялась? Потому что я, знаете, не удивлюсь, если она окажется международной шпионкой. Мата Хари! Ее тип. То есть абсолютно. И потом... В общем, не та это дамочка, чтобы ее забыть, если уж она вам влезла в печенки. Меня она высосала дочиста, и не в одном отношении. Деньги и душу, к примеру. Я бы ее убил... кабы не Анатоль.

– А кто это? – спросил я.

– Анатоль? А палач. Который тут при гильотине. Так вы, стало, все же не из полиции. Нет? Ну, это, я полагаю, ваше дело. Но, правда, она меня с ума свела. Я, знаете, встретился с ней в Остенде, где-то, наверное, – дайте подумать, – году в двадцать седьмом, ей тогда было лет двадцать, да что, и двадцати-то не было. Я знал, что она любовница еще там одного и все такое прочее, но мне было наплевать. Жизнь она себе как представляла? – коктейли, плотный ужин часа, этак, в четыре утра и танцы, шимми или как его там называют, ну, и еще таскаться по борделям, – мода такая была у парижских пижонов, – и покупать дорогие платья, и закатывать скандалы в отелях, когда примерещится, что горничная у ней сперла какую-то мелочь, которую она потом находила в ванной... Ну, и прочее в этом роде – да вы ее в любом дешевом романе найдете, это же тип, тип! Еще она, бывало, выдумает себе какую ни на есть редкую хворь и едет на курорт, непременно чтоб поизвестней и...

– Пойдите-ка, – сказал я. – Это для меня важно. В двадцать девятом году она была в Блауберге, одна?

– Точно, но это уж в самом конце нашего брака. Мы тогда жили в Париже, потом скоро разошлись, и я год проработал в Лионе, на фабрике. Я, видите ли, разорился.

– Вы хотите сказать, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину?

– Нет, это я не знаю. Понимаете, я не думаю, чтобы она и впрямь так далеко заходила, обманывая меня, то есть не по-настоящему, не на всю катушку, – по крайности, я старался так думать, потому что мужчины-то вокруг нее вечно вертелись, а она, вроде, была не против, чтобы они ее целовали, но начни я об этом задумываться, я бы спятил. Как-то, помню...

– Простите, – снова перебил его я, – вы совершенно уверены, что никогда не слыхали про ее английского друга?

– Английского? Вы, вроде, про немецкого говорили. Нет, не знаю. Сдается, был в двадцать восьмом году в Сен-Максиме молодой американец, тот чуть в обморок не падал каждый раз, как Нинка с ним танцевала, – и, что же, могли быть и англичане, в Остенде и где угодно, – да меня, по правде сказать, национальность ее ухажеров никогда особенно не занимала.

– Так вы вполне уверены, что ничего не знаете о Блауберге и... ну, о том, что за ним последовало?

– Нет, – сказал он. – Не думаю, чтобы она там кем-нибудь увлеклась. Понимаете, у нее в это время был очередной заскок насчет болезней, – она питалась одним лимонным мороженым и огурцами и болтала про смерть, про Нирвану, про что там еще? – у ней бзик был по части Лхассы, – знаете, о чем я?..

– Как ее звали, в точности? – спросил я

– Ну, когда я с ней встретился, она звалась Ниной Туровец, – а уж как там... Нет, я думаю, вам ее не найти. По правде сказать, я часто ловлю себя на мысли, что она вообще никогда не существовала. Я рассказал про нее Варваре Митрофанне, так та говорит, – это, мол, просто дурной сон после просмотра дурной фильма. Э, да вы уж не уходите ли собрались? Она же сию минуту вернется... – Он глянул на меня и засмеялся. (По-моему, он малость перебрал коньячку.)

– Ой, я и забыл, – сказал он. – Вы же не нынешнюю мою жену ищите. – И прибавил: – А кстати, документы у меня в полном порядке. Могу вам показать мою *carte de travail*<sup>19</sup>. И если вы ее найдете, я бы хотел на нее взглянуть перед тем, как ее посадят. А может и не

<sup>19</sup> Удостоверение на право работы по найму (франц.)

стоит.

– Ну, что же, спасибо вам за беседу, – сказал я, когда мы с несколько чрезмерным воодушевлением жали друг другу руки – сперва в комнате, потом в коридоре, потом в дверях.

– Вам спасибо, – кричал Пал Палыч. – Знаете, я так люблю про нее рассказывать, жалко вот, не сохранил я ни одной ее карточки.

С минуту я простоял, размышляя. Достаточно ли я из него вытянул?.. Что ж, я ведь всегда могу встретиться с ним еще раз... А не могло ли случайное фото попасть в одну из этих иллюстрированных газет – с автомобилями, мехами, собаками и модами Ривьеры? Я спросил об этом.

– Возможно, – сказал он, – возможно. Она как-то получила приз на костюмированном балу, да только я не очень-то помню, где это было. Для меня тогда что ни город, то ресторан или танцулька.

Он потряс головой, зычно рассмеялся и захлопнул дверь. Дядя Черный и мальчик медленно поднимались по лестнице мне навстречу.

– Когда-то давным-давно, жил да был автогонщик на свете, – говорил дядя Черный, – и была у него маленькая белочка; и вот однажды...

## Глава 16

Первое мое впечатление было такое, что я получил искомое, что я, по крайности, выяснил, кто была любовница Себастьяна; но довольно быстро я поостыл. Могла ли быть ею она, первая жена этого пустозвона? – раздумывал я, пока такси несло меня по следующему адресу. В самом ли деле стоит устремляться по этому правдоподобному, слишком правдоподобному следу? Не был ли образ, вызванный Пал Палычем, чуточку слишком очевиден? Взбалмошная распутница, разбившая жизнь безрассудного мужчины. Но был ли Себастьян безрассуден? Я напомнил себе о резкой его неприязни к очевидно дурному и очевидно хорошему; к готовым формам наслаждения и к заемным формам страдания. Женщина такого пошиба начала бы действовать ему на нервы незамедлительно. Ибо к чему свелись бы ее разговоры, когда бы она и впрямь ухитрилась познакомиться в отеле “Бомон” с тихим, несходчивым и рассеянным англичанином? Разумеется, после первого же изложения ею своих воззрений он стал бы ее избегать. Я знаю, он говорил, что у вертлявых девиц неповоротливые мозги и что ничего нет скучнее хорошенькой женщины, обожающей повеселиться; и даже больше: если толком приглядеться к самой прелестной девушке, когда она пахнет сливки банальности, непременно отыщешь в ее красоте какой-то мелкий изъян, отвечающий складу ее мышления. Он, возможно, и не прочь был вкусить от яблока греха, потому что идея греха, если не считать языковых огрехов, оставляла его безразличным, но яблочный джем в патентованных баночках не пришелся б ему по вкусу. Простить женщине кокетство он мог, но никогда не простил бы поддельной тайны. Его могла позабавить молоденькая потаскушка, мирно наливающаяся пивком, но *grande cocotte*<sup>20</sup> с намеком на пристрастие к бхангу он бы не вытерпел. Чем дольше я это обдумывал, тем менее вероятным оно представлялось... Во всяком случае, не проверив других двух возможностей, этой женщиной заниматься не стоило.

Поэтому в чрезвычайно импозантный дом, у которого встало такси (в весьма фешенебельном квартале Парижа), я вошел вполне энергичной походкой. Горничная сказала, что мадам нет дома, но, заметив мое разочарование, попросила обождать минуту и вскоре вернулась с предложением, что ежели мне будет угодно, то я могу поговорить с подругой мадам фон Граун – с мадам Лесерф. Она оказалась маленькой, хрупкой, бледнолицей молодой дамой с гладкими темными волосами. Я подумал, что никогда не видал кожи с такую ровною бледностью; черное платье высоко прикрывало шею, в руке она держала длинный, черный папирсный мундштук.

– Так вы желали бы видеть мою подругу? – спросила она с прелестным, подумалось мне, старосветским оттенком учтивости в кристально чистом французском.

<sup>20</sup> Большая кокотка (франц.)

Я представился.

– Да, – сказала она, – я заглянула в вашу карточку. Вы русский, не так ли?

– Я пришел, – пояснил я, – по весьма деликатному делу. Но прежде всего скажите, прав ли я, полагая, что мадам Граун – моя соотечественница?

– Mais oui, elle est tout se qu'il y a de plus russe<sup>21</sup>, – отвечала она нежным звенящим голосом. – Муж ее был немец, но он говорил и по-русски.

– А, – сказал я, – прошедшее время весьма меня радует.

– Вы можете быть вполне откровенны со мной, – сказала мадам Лесерф, – деликатные дела мне по душе.

– Я состою в родстве, – продолжал я, – с английским писателем Себастьяном Найтом, скончавшимся два месяца назад; я собираюсь написать его биографию. У него был близкий друг, женщина, с которой он познакомился в Блауберге, где провел несколько времени в двадцать девятом году. Я пытаюсь найти ее. Вот почти и все.

– Quelle drôle d'histoire!<sup>22</sup> – воскликнула она. – Какая забавная история! И что же вы хотите, чтобы она вам рассказала?

– О, все, что ей будет угодно... Но должен ли я понимать... Вы хотите сказать, что мадам Граун и есть та самая женщина?

– Весьма возможно, – сказала она, – хотя и не думаю, чтобы я когда-либо слышала от нее это имя... Как вы его назвали?

– Себастьян Найт.

– Нет. И все же это вполне возможно. Она всегда заводит друзей там, где ей случается жить. Il va sans dire<sup>23</sup>, – прибавила она, – что вам следует поговорить с ней самой. О, я уверена, вы найдете ее очаровательной. Но что за странная история, – повторила она, с улыбкой глядя на меня. – Почему вы должны писать о нем книгу, и как случилось, что вы не знаете имени женщины?

– Себастьян Найт был довольно скрытен, – пояснил я. – А письма этой женщины, хранившиеся у него... Видите ли, он пожелал, чтобы их уничтожили после его смерти.

– Вот это правильно, – весело сказала она, – я очень его понимаю. Во что бы то ни стало сжигайте любовные письма. Прошлое превосходно горит. Хотите чашечку чаю?

– Нет, – сказал я. – Чего бы я хотел, так это узнать, когда я смогу увидеть мадам Граун.

– Скоро, – сказала мадам Лесерф. – Сейчас ее нет в Париже, но, думаю, завтра вы могли бы зайти снова. Да, полагаю, так будет вернее всего. Она может вернуться даже нынешней ночью.

– Могу ли я просить вас, – сказал я, – побольше рассказать мне о ней?

– Что же, это не трудно, – сказала мадам Лесерф. – Она прекрасная певица, знаете, цыганские песни, в этом роде. Необычайно красива. Elle fait des passions<sup>24</sup>. Я ужасно ее люблю и занимаю здесь комнату всякий раз, что попадаю в Париж. Кстати, вот ее фотография.

Медленно и бесшумно она пересекла толстый ковер гостиной и взяла большую обрамленную фотографию, стоявшую на пианино. С минуту я рассматривал полуотвернутое от меня удивительное лицо. Мягкая линия щек и уходящие вверх призрачные стрелы бровей показались мне очень русскими. Чуть отблескивало нижнее веко и полные, темные губы. Выражение лица представляло странную смесь мечтательности и коварства.

– Да, – сказал я, – да...

– Ну что, она? – испытующе спросила мадам Лесерф.

– Может быть, – ответил я. – Мне очень не терпится встретиться с ней.

– Я постараюсь сама все выяснить, – сказала мадам Лесерф с видом очаровательной

<sup>21</sup> Ну да! В ней очень много русского (франц.)

<sup>22</sup> Какая странная история (франц.)

<sup>23</sup> Само собой разумеется (франц.)

<sup>24</sup> Она вызывает страсти (франц.)

заговорщицы. – Потому что, знаете ли, я считаю, что куда честнее писать книгу о людях, которых знаешь, чем делать из них фарш и потом притворяться, что ты сам все это состряпал!

Я поблагодарил ее и попрощался на французский манер. Ладонь у нее была удивительно маленькая, и когда я неумышленно сжал ее слишком сильно, она поморщилась, потому что на среднем пальце у нее было большое, острое кольцо. Оно и меня немного поразило.

– Завтра в это же время, – сказала она и мягко рассмеялась. Приятно спокойная дама со спокойными движениями.

Я все еще ничего не узнал, но чуял, что продвигаюсь успешно. Теперь оставалось успокоить душу касательно Лидии Богемски. Приехав по имевшемуся у меня адресу, я узнал от консьержа, что госпожа несколько месяцев как съехала. Он сказал, что она вроде бы обитает в отельчике насупротив. Там мне сообщили, что она выехала три недели назад и живет теперь на другом конце города. Я спросил у моего собеседника, как он полагает, русская ли она? Он ответил, что русская. “Привлекательная брюнетка?” – предположил я, прибегнув к старинной уловке Шерлока Хольмса. “Точно”, – ответил он, слегка меня озадачив (правильный ответ: “О, нет, уродливая блондинка”). Полчаса спустя я входил в мрачного вида дом невдалеке от тюрьмы Санте. На мой звонок вышла толстая, немолодая женщина с волнистыми ярко-оранжевыми волосами, багровыми щеками и каким-то темным пухом над крашеной губой.

– Могу я поговорить с мадемуазель Лидией Богемски? – спросил я.

– *C'est moi*<sup>25</sup>, – отвечала она с жутким русским акцентом.

– Так я сбегая за вещами, – пробормотал я и поспешно покинул дом. Я порой думаю, что она, может быть, так и стоит в проеме двери.

Когда я назавтра опять пришел на квартиру мадам фон Граун, горничная провела меня в другую комнату – род будуара, изо всей силы старающегося выглядеть очаровательным. Еще накануне я заметил, как сильно натоплено в этой квартире, и поскольку погода на дворе стояла хотя и решительно сырая, но все же едва ли, что называется, зябкая, это буйство центрального отопления показалось мне отчасти преувеличенным. Ждать пришлось долго. На столике у стены валялось несколько состарившихся французских романов – все больше лауреаты литературных премий – и изрядно залистанный экземпляр “Сан-Микеле” доктора Акселя Мунте. Букет гвоздик помещался в стеснительной вазе. Были тут и разные безделушки, вероятно вполне изысканные и дорогие, но я всегда разделял почти болезненную неприязнь Себастьяна ко всему, сделанному из стекла или фарфора. Имелась, наконец, полированная якобы мебель, вмещавшая, это я сразу учуял, кошмар кошмаров: радиоприемник. В общем и целом, однако ж, Элен фон Граун представлялась особой “культурной и со вкусом”.

Наконец дверь открылась, и вступила бочком дама, виденная мной накануне, – говорю “бочком”, потому что голова у нее была повернута вниз и назад, – она разговаривала, как обнаружилось, с одышливым, черным, лягушачьего вида бульдожком, которому, видимо, неохота было входить.

– Помните о моем сапфире, – сказала она, подавая мне холодную ладошку. Она уселась на голубую софу и подтянула туда же тяжелехонького бульдога.

– *Viens, mon vieux*, – задыхалась она, – *viens*. Он чахнет без Элен, – сказала она, когда животина удобно устроилась между подушек. – Вы знаете, просто беда, я надеялась, что она вернется сегодня утром, а она протелефонировала из Дижона и сказала, что не появится до субботы (а то был вторник). Мне ужасно жаль. Я не знала, как вас найти. Вы очень расстроены? – и она взглянула на меня, положив подбородок на сложенные ладони и упершись в колени стесненными бархатом острыми локотками.

– Ну, что же, – сказал я, – если вы побольше расскажете мне о мадам Граун, я, может быть, и утешусь.

Не знаю отчего, но атмосфера этого дома как-то располагала меня к аффектации в ре-

<sup>25</sup> Это – я (франц.)

чах и манерах.

– И даже более того, – сказала она, воздевая палец с острым ноготком, – *j'ai une petite surprise pour vous*<sup>26</sup>. Но сначала мы выпьем чаю. – Я понял, что на сей раз мне не избежать комедии чаепития; и вправду, горничная уже катила столик с посверкивающим чайным прибором.

– Поставьте сюда, Жанна, – сказала мадам Лесерф. – Да, вот так.

– Теперь вы должны рассказать мне как можно точнее, – сказала мадам Лесерф, – *tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé*<sup>27</sup>. Я подозреваю, вы любите добавив немного сливок, ведь вы жили в Англии. А знаете, вы похожи на англичанина.

– Предпочитаю походить на русского, – сказал я.

– Вот русских, боюсь, я вовсе не знаю, не считая Элен, разумеется. Эти бисквиты, по-моему, довольно милы.

– А что же ваш сюрприз? – спросил я.

У ней было чудное обыкновение внимательно смотреть на вас – не в глаза, нет, а на нижнюю часть лица, словно у вас там крошки или что-то еще, и неплохо бы это смахнуть. Сложена она была для француженки очень изящно, а прозрачная кожа и темные волосы представлялись мне весьма привлекательными.

– Ах! – сказала она. – Я спросила ее кое о чем, по телефону, и... – она помедлила, видимо наслаждаясь моим нетерпением.

– И она ответила, – сказал я, – что никогда не слыхала этого имени.

– Нет, – сказала мадам Лесерф, – всего-навсего рассмеялась, но мне этот ее смешок знаком.

Кажется, я встал и прошелся по комнате вперед и назад.

– Ну, – наконец сказал я, – вообще говоря, это не повод для смеха, не так ли? А она знает, что Себастьян Найт умер?

Мадам Лесерф прикрыла темные бархатистые глаза в безмолвном “да” и вслед за тем снова взглянула на мой подбородок.

– Вы с ней виделись в последнее время, – я хочу сказать, видели вы ее в январе, когда известие о его смерти попало в газеты? Она опечалилась?

– Послушайте, мой дорогой друг, вы странно наивны, – сказала мадам Лесерф. – Есть разные виды любви и разные виды печали. Положим, Элен – это та, кого вы ищете. Но зачем полагать, что она любила его настолько, чтобы оплакивать его смерть? Или, быть может, она любила его, но у нее особые взгляды на смерть – такие, при которых истерики исключаются? Что мы знаем об этом? Это ее личное дело. Она, надеюсь, все вам расскажет, но до того времени вряд ли будет справедливым ее оскорблять.

– Я ее не оскорблял, – воскликнул я. – И сожалею, если сказал что-то несправедливое. Но расскажите же мне о ней. Давно вы ее знаете?

– О, за последние годы, не считая этого, я виделась с ней нечасто, – она, знаете ли, все в разъездах, – но мы вместе учились в школе, здесь, в Париже. Ее отец был русский, художник. Она совсем еще девочкой вышла замуж за того дурака.

– За какого дурака? – заинтересовался я.

– Ну, за мужа своего, конечно. Большинство мужей – дураки, но тот был *hors concours*<sup>28</sup>. По счастью, это тянулось недолго. Попробуйте моих. – Она вручила мне и свою зажигалку тоже. Бульдог зарычал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе, освободив для меня место. – А вы, похоже, мало знаете женщин, да? – спросила она, погладив себя по пятке.

– Меня интересует только одна, – ответил я.

– А сколько вам лет? – продолжала она. – Двадцать восемь? Я догадалась? Нет? О, ну, тогда вы старше меня. Но не важно. О чем это я говорила?.. Да, я кое-что знаю о ней из ее

<sup>26</sup> У меня для вас маленький сюрприз (франц.)

<sup>27</sup> Все что вы считаете разумным требовать к чашке чая (франц.)

<sup>28</sup> Вне конкурса (франц.)

рассказов, ну и то, что сама раскопала. Единственный мужчина, которого она любила по-настоящему, был женат, это еще до ее замужества, она тогда была худышка, понимаете? – и он то ли устал от нее, то ли еще что. После у ней были романы, но, в сущности, это не имеет значения. *Un coeur de femme ne ressuscite jamais*<sup>29</sup>. Потом приключилась одна история, о ней она мне рассказала подробно, – эта была довольно печальной.

Она рассмеялась. Зубы ее были великоваты для маленького, бледного рта.

– У вас такой вид, будто моя подруга была вашей любовницей, – сказала она, дразнясь. – А кстати, я все хотела спросить, откуда у вас этот адрес, – я имею в виду, что заставило вас искать Элен?

Я рассказал ей о четырех адресах, полученных в Блауберге. Назвал имена.

– Это великолепно, – вскричала она, – вот это, я понимаю, энергия! *Voyez vous ça*<sup>30</sup>! И вы ездили в Берлин? Она еврейка? Обворожительно! А других вы тоже нашли?

– Одну повидал, – сказал я, – этого хватило.

– Которую? – спросила она, корчась от неумемного веселья. – Которую? Мадам Речную?

– Нет, – сказал я. – Ее муж снова женился, а она исчезла.

– Но вы прелестны, прелестны, – приговаривала мадам Лесерф, утирая слезы и зыблясь от нового смеха. – Представляю, как вы врываетесь к ним и натываетесь на ни в чем не повинную парочку. Ох, я сроду ничего не слыхала забавней. И что же, его жена спустила вас с лестницы или как?

– Оставим это, – сказал я с некоторой резкостью.

Ее веселье рассердило меня. Боюсь, она обладала французским чувством юмора по части супружеских дел; в иную минуту оно показалось бы мне привлекательным, но именно сейчас я ощущал, что ее легкомысленно малопристойный взгляд на мое расследование чем-то оскорбителен для памяти Себастьяна. Это ощущение росло, и мне вдруг подумалось, что, может быть, и само это дознание непристойно, а моя неуклюжая погоня за призраком уже исказила всякое представление, какое я мог бы составить о последней любви Себастьяна. Или гротескная сторона поисков, предпринятых мною во имя Себастьяна, пришлась бы ему по вкусу? Сочтет ли герой биографии, что присущий ей особый “найтовский поворот” сполна возмещает промахи биографа?

– Пожалуйста, простите меня, – сказала она, кладя свою ледяную ладонь на мою и глядя на меня исподлобья. – Знаете, не нужно быть таким обидчивым.

Она легко поднялась и подошла к красного дерева ящику в углу. Я смотрел на ее узкую, девичью спину, пока она наклонялась, и вдруг догадался, что она сию минуту проделает.

– Нет, Бога ради, только не это! – закричал я.

– Нет? – сказала она. – Я подумала, немного музыки вас успокоит. И вообще создаст нужную атмосферу для нашего разговора. Нет? Ну, как хотите.

Бульдог встряхнулся и улегся опять.

– Вот и умница, – сказала она льстиво-протяжно.

– Вы хотели мне рассказать... – напомнил я.

– Да, – сказала она и вновь уселась рядом со мной, подобрав под себя ногу и затянув ее подолом юбки. – Да. Видите ли, я не знаю, кто был тот мужчина, но насколько я поняла, человек он был трудный. Она говорила, что ей приглянулась его наружность, и она подумала, что было бы, пожалуй, забавно заставить его заняться с нею любовью, – потому что, понимаете, он казался таким интеллектуалом, а всегда ведь приятно увидеть, как такой утонченный и надменный умник вдруг опускается на четвереньки и начинает вилять хвостом. Да что с вами опять такое, *cher Monsieur*<sup>31</sup>?

– Боже мой, о чем это вы говорите? – закричал я. – Когда... Когда и где он случился,

<sup>29</sup> Женское сердце не воскреснет никогда (франц.)

<sup>30</sup> Увидьте вы это (франц.)

<sup>31</sup> Дорогой Господин (франц.)

этот роман?

– Ah non merci, je ne suis pas le calendrier de mon amie. Vous ne voudriez pas!<sup>32</sup> Я не стала выспрашивать у нее дат и имен, и, если она их сама называла, я их забыла. И пожалуйста, не задавайте мне больше никаких вопросов: я рассказываю то, что знаю я, а не то, что вам хотелось бы знать. Не думаю, чтобы это был ваш родственник, уж очень он на вас не похож, – конечно, насколько мне можно судить по тому, что она рассказала, и по нашему с вами знакомству. Вы милый, порывистый молодой человек, а он, – ну какой угодно, только не милый, – он стал просто гадок, когда обнаружил, что влюбился в Элен. Нет, он не превратился в чувствительного щеночка, как она ожидала. Он с горечью твердил, что она – пустое и суетное существо и что он целует ее, чтобы увериться, что она – не фарфоровая безделушка. Что ж, она ею не была. В конце концов он понял, что не может жить без нее, а она в конце концов поняла, что уже больше слышать не может разговоров о его сновидениях, и о сновидениях внутри его сновидений, и о сновидениях в сновидениях его сновидений. Поймите, я никого из них не сужу. Возможно, оба были правы, возможно, – оба неправы, но, видите ли, моя подруга – вовсе не заурядная женщина, какой он ее считал, о нет, она совсем другая, а уж о жизни, смерти и людях она знала чуточку больше, чем знал, по его мнению, он. Он, видите ли, был из тех, кто считает все современные книги хламом, а всех современных молодых людей – дураками, и только потому, что сам он слишком занят своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других. Она говорила, что невозможно даже вообразить, что у него были за вкусы и прихоти, а уж как он говорил о религии – это, по-моему, просто кошмар. А моя подруга, она, знаете, скорее беззаботная, вернее, была такой, *très vive*<sup>33</sup>, и так далее, но она чувствовала, что просто стареет и скисает с каждым его появлением. Он ведь, знаете ли, никогда не оставался с ней подолгу – займется а *l'improviste*<sup>34</sup>, плюхнется на пуфик, сложит ладони на ручке трости, не снимая перчаток, и уставится мрачно. Вскоре она подружилась с другим мужчиной, этот ее боготворил и был гораздо, о, гораздо внимательнее и добрее, и участливее того, которого вы напрасно считаете вашим братом (не кривитесь, пожалуйста), но они ее оба не очень увлекали, и она говорит, что просто умора была смотреть, какие они были обходительные, когда встречались. Ей нравилось путешествовать, но стоило ей отыскать какой-нибудь приятный уголок, где можно забыть про свои тревоги и про все на свете, как он ухитрялся тут же испортить пейзаж – усаживался за ее столик на террасе и твердил, что она суетная и пустая и что он не может жить без нее. Или вдруг закатывал длинную речь перед ее друзьями, – знаете, *des jeunes gens qui aiment a rigoler*<sup>35</sup>, – какую-нибудь длинную и непонятную речь о форме пепельницы или о цвете времени, – ну, и его оставляли одного в кресле, глупо улыбаться себе самому или считать свой пульс. Жаль, если он и вправду окажется вашим родственником, потому что я не думаю, чтобы она сохранила от той поры очень уж приятное впечатление. В конце концов, рассказывала она, он стал совершенно несносен, и она больше не позволяла ему даже притрагиваться к себе, потому что с ним мог приключиться припадок или еще что-то – от возбуждения. И вот, как-то раз, когда он должен был приехать ночным поездом, она попросила молодого человека, который готов был на все, чтобы ей угодить, встретить его и сказать, что она больше не желает с ним видиться, никогда, и что если он будет искать с нею встреч, то ее друзья отнесутся к нему как к назойливому чужаку и соответственно с ним поступят. Я считаю, что это было нехорошо с ее стороны, но она решила, что в конечном счете для него же так будет лучше. И это помогло. Он больше не присылал ей даже обычных умоляющих писем, которые она все равно не читала. Нет-нет, право, не думаю, чтобы это был ваш человек, – если я и рассказываю вам все это, то лишь для того, чтобы дать вам представление об Элен, а не о ее любовниках. Она была так переполнена жизнью, готовно-

<sup>32</sup> Ах нет, пощадите, я не календарь моей подруги. Вы не хотели бы! (франц.)

<sup>33</sup> Очень живой (франц.)

<sup>34</sup> Неожиданно (франц.)

<sup>35</sup> Молодые люди, которые любят шутить (франц.)



стью всех приласкать, так полна этой *vitalité joyeuse qui est, d'ailleurs, tout-à-fait conforme à une philosophie innée, à un sens quasi-religieux des phénomènes de la vie*<sup>36</sup>. И что из этого вышло? Мужчины, которых она любила, оказались жалкими ничтожествами, женщины – все, за очень малыми исключениями, – попросту кошками; и лучшую часть своей жизни она провела, пытаясь найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Что ж, вы встретитесь с ней и увидите, насколько мир преуспел.

Долгое время мы молчали. Увы, у меня не оставалось больше сомнений; и пусть портрет Себастьяна был отвратителен, – но ведь и достался он мне уже подержанным.

– Да, – сказал я, – я встречу с нею, любой ценой. И по двум причинам. Во-первых, я хочу задать ей один вопрос, только один. А во-вторых...

– Да? – сказала мадам Лесерф, отхлебнув остывшего чая. – А во-вторых?

– Во-вторых, я не в силах вообразить, чем могла такая женщина увлечь моего брата; вот я и хочу увидеть ее собственными глазами.

– Вы хотите сказать, – спросила мадам Лесерф, – что она кажется вам страшной, опасной женщиной? *Une femme fatale*?<sup>37</sup> Потому что она, знаете ли, совсем не такая. Она – чистое золото.

– Да нет, – сказал я. – Не страшной, не опасной. Умной, если угодно, и так далее. И все же... Нет, я должен сам ее видеть.

– Поживете – увидите, – сказала мадам Лесерф. – Теперь послушайте. У меня предложение. Завтра я уезжаю. И боюсь, если вы придете сюда в субботу, Элен может оказаться в такой спешке, – она, знаете, вечно спешит, – что отложит вашу встречу до завтра, забыв, что на завтра она едет ко мне в деревню, и вы ее снова упустите. Словом, я думаю, что вам лучше всего тоже приехать ко мне. Потому что тогда вы наверное, наверное встретитесь с ней. Так вот, я приглашаю вас приехать в воскресенье утром – и пожить у нас, сколько сочтете нужным. У нас четыре свободных спальни, так что я думаю, вам будет удобно. И потом, вы знаете, если сперва я немного поговорю с ней, она будет как раз в нужном расположении для разговора с вами *Eh bien, êtes-vous d'accord*?<sup>38</sup>

## Глава 17

Как странно, думал я, получается, что Нина Речная и Елена фон Граун обладают легким семейственным сходством, – и, уж во всяком случае, таковое имеется между двумя портретами, нарисованными мне мужем одной и подругой другой. Особенно выбирать между ними не приходилось. Нина пуста и пленительна, Елена – коварна и жестока; обе взбалмошны, и обе совсем не в моем вкусе – да и не в Себастьяновом, насколько я понимаю. Любопытно, знали ли эти двое друг дружку в Блауберге: пожалуй, они могли подружиться – в теории; на деле они, вероятно, плевались бы и шипели одна на другую. Впрочем, теперь я мог окончательно отставить Нину Речную – это одно уже было большим облегчением. То, что француженка рассказала мне о любовнике своей подруги, едва ли могло быть совпадением. И какие бы чувства я ни испытывал, узнав, как обошлись с Себастьяном, я не мог не порадоваться тому, что поиски мои подходят к концу и что я избавлен от невыполнимой задачи – отыскивать первую жену Пал Палыча, которая, по всему, что я о ней знал, могла пребывать в тюрьме, а могла и в Лос Анжелесе.

Я сознавал, что мне дается последний шанс, и, стремясь наверное увидеться с Еленой фон Граун, сделал над собой кошмарное усилие и отправил ей на парижский адрес письмо, так, чтобы она нашла его по приезде. Письмо было кратким: я просто уведомлял в нем, что буду гостить у ее подруги в Леско и что приглашение принято мной с единственной целью встретиться с нею; я добавлял, что имеется важное литературное дело, которое мне необхо-

<sup>36</sup> Веселой жизненной силе, которая, впрочем, полностью соответствует врожденной философии, почти религиозному смыслу явлений жизни. (франц.)

<sup>37</sup> Роковая женщина (франц.)

<sup>38</sup> Итак, вы согласны? (франц.)

димо с ней обсудить. Последнее утверждение было не очень правдивым, но я решил, что оно звучит завлекательно. Я так и не понял, сказала ли ей подруга во время телефонного разговора с Дижоном что-либо о моем желании увидеться с ней, и отчаянно боялся услышать в воскресенье от безмятежной мадам Лесерф, что Елена отправилась в Ниццу. Отослав письмо, я почувствовал, что, во всяком случае, сделал все посильное для устройства нашей встречи.

Я выехал в девять утра, дабы попасть в Леско около полудня, как было условлено. Я уже садился в вагон, как вдруг меня поразила мысль, что дорогой я буду проезжать Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Сюда добирался я одной незабываемой ночью. Однако ныне я не узнавал ничего: когда поезд на минуту встал у маленькой платформы Сен-Дамье, одна только вывеска над ней и сказала мне, что я уже был здесь. Все вокруг глядело так просто, степенно и основательно в сравнении с искаженным сонным видением, засевающим в моей памяти. Или это теперь все исказилось?

Когда поезд отъехал, я испытал странное облегчение: ныне я уже не шел по призрачным следам, как тому два месяца. Погода стояла ясная, и при всякой остановке поезда я, казалось, слышал неровное и легкое дыхание весны, еще чуть заметной, но бесспорно присутствующей: «Озябшие танцовщицы, ждущие в кулисах», – как однажды об этом сказал Себастьян.

Дом у мадам Лесерф был большой, обветшалый. Десятка два болезненно дряхлых деревьев притворялись парком. Поля по одну сторону и фабрика на холме по другую. Все здесь выглядело подозрительно изношенным, убогим, пропыленным; и когда я несколько позже узнал, что дом построен всего лет тридцать с лишком назад, я еще пуще подивился его одряхлению. Приближаясь к парадному входу, я встретил мужчину, торопливо хрустевшего гравием дорожки; он приостановился и пожал мне руку.

– *Enchanté de vous sannaître*<sup>39</sup>, – сказал он, окидывая меня грустным взором, – жена вас ожидает. *Je suis navré*<sup>40</sup> ... но мне в это воскресенье нужно съездить в Париж.

Это был средних лет и довольно заурядной внешности француз с усталыми глазами и машинальной улыбкой. Мы еще раз пожали друг другу руки.

– *Mon ami*<sup>41</sup>, вы пропустите поезд, – донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерф, и он послушно затрусил дальше.

Сегодня платье на ней было бежевое, она ярко накрасила губы, но сквозистой кожи не тронула. Солнце сообщило ее волосам синеватый отлив, и я поймал себя на мысли, что все-таки она очень хорошенькая молодая женщина. Мы прошли две-три комнаты, имевшие такой вид, словно меж ними нерешительно разделили представление о гостиной. Меня одолевало чувство, что мы совершенно одни в этом неприятно раскидистом доме. Она подцепила шаль, лежавшую на зеленого шелка канапе, и завернулась в нее.

– Холодно, правда? – сказала она. – Вот одно, что я ненавижу в жизни, – холод. Потрогайте мои руки. Они всегда такие, кроме лета. Завтрак будет через минуту готов. Садитесь.

– Когда именно она приедет? – спросил я.

– *Écoutez*<sup>42</sup>, – сказала мадам Лесерф, – неужели вы не в силах на минуту забыть о ней и поговорить о чем-то еще? *Ce n'est pas très poli, vous savez*<sup>43</sup>. Расскажите мне о себе. Где вы живете, чем занимаетесь?

– После полудня она уже будет здесь?

<sup>39</sup> Восхищен вашей осведомленностью (франц.)

<sup>40</sup> Я огорчен (франц.)

<sup>41</sup> Мой друг (франц.)

<sup>42</sup> Слушайте (франц.)

<sup>43</sup> Это очень невоспитанно, вы знаете (франц.)

– Да, да, упорный вы человек. *Monsieur l'entêté*<sup>44</sup>. Разумеется будет. Не нужно быть таким нетерпеливым. Знаете, женщинам не очень нравятся мужчины с *idée fixe*<sup>45</sup>. Как вам показался мой муж?

Я сказал, что он, должно быть, много старше нее.

– Он очень милый, но страшно скучный, – продолжала она, смеясь. – Я нарочно его отослала. Мы женаты всего только год, но я уже словно чувствую близость бриллиантовой свадьбы. Дом же этот я просто ненавижу. А вам, как он?

Я сказал, что дом выглядит несколько старомодно.

– О, это не то слово. Он казался новехоньким, когда я впервые его увидела. Но с того времени полинял и поосыпался. Я говорила однажды доктору, что любые цветы, кроме гвоздик и нарциссов, засыхают, едва я к ним прикоснусь, – странно, не правда ли?

– И что он ответил?

– Ответил, что он не ботаник. Когда-то была на свете персидская царевна вроде меня. Так она извела Дворцовые Сады.

Пожилая, довольно угрюмая служанка заглянула в комнату и кивнула хозяйке.

– Пойдемте, – сказала мадам Лесерф. – *Vous devez mourir de faim*<sup>46</sup>, судя по вашему лицу.

В дверях мы столкнулись, потому что она вдруг обернулась, а я шел прямо за ней. Она ухватила меня за плечо, и волосы ее легко пронеслись по моей щеке.

– Как вы неловки, молодой человек, – сказала она. – Я забыла мои пилюли.

Она их нашла, и мы отправились по дому на поиски столовой. В конце концов мы ее отыскали. Это была унылая комната с эркером, который вроде как бы в последний момент передумал и робко попытался снова стать обыкновенным окном. Двое молча вплыли в нее через разные двери. Одна – старая дама, как я понял, кухня мосье Лесерфа. Ее участие в разговоре строго ограничивалось вежливым мурлыканьем при передаче блюда. Другой – довольно красивый собой мужчина в брюках-гольф, с торжественным выраженьем лица и странной седой прядью в редких светлых волосах. Во весь завтрак он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерф представляла людей торопливым взмахом руки, не снисходя до имен. Я заметил, что она игнорировала его присутствие за столом, – казалось даже, будто он сидит ото всех отдельно. Завтрак был состряпан недурно, но составлен как-то наобум. Впрочем, вино было изрядное.

После того, как мы, лязгая, пронеслись через первую перемену, светловолосый господин раскурил папиросу и куда-то побрел. Минуту спустя он вернулся с пепельницей. Мадам Лесерф, до этого времени поглощенная пищей, теперь обратилась ко мне и сказала:

– Так вы, стало быть, немало поездили в последнее время? А я никогда не бывала в Англии, как-то не пришлось. Верно, скучное место. *On doit s'y ennuyer follement, n'est-ce-pas?*<sup>47</sup> И потом, эти туманы... К тому же ни музыки, ни хоть какого-нибудь искусства... Этот кролик приготовлен особенным способом, я думаю, он вам понравится.

– Кстати, – сказал я, – забыл вам сказать. Я написал письмо вашей подруге, предупредил ее, что буду здесь и... ну, как бы напомнил ей, что она собиралась приехать.

Мадам Лесерф положила вилку и нож. Вид у нее стал изумленный и рассерженный.

– Не может быть! – вскричала она.

– Но ведь от этого никакого вреда не будет, верно? – или вы думаете...

Кролика мы прикончили в молчании. Последовал шоколадный крем. Блондин аккуратно сложил салфетку, вставил ее в кольцо, встал, слегка поклонился хозяйке и удалился.

– Мы будем пить кофе в зеленой гостиной, – сказала служанке мадам Лесерф.

– Я сердита на вас, – объявила она после того, как мы сели. – Думаю, вы все испорти-

<sup>44</sup> Господин упрямец (франц.)

<sup>45</sup> Идея фикс (франц.)

<sup>46</sup> Вы должны умереть от голода (франц.)

<sup>47</sup> Должны скучать там безумно, не так ли (франц.)

ли.

– Но почему, что я такого сделал? – спросил я.

Она смотрела в сторону. Маленькая, крепкая грудь ее волновалась (Себастьян написал однажды, что это случается только в романах, но вот передо мной было доказательство его неправоты). Голубая жилка на бледной девичьей шее, казалось, пульсировала (впрочем, в этом я не уверен). Трепетали ресницы. Да, решительно, хорошенькая женщина. Интересно, думал я, откуда она родом – с юга? Возможно, из Арля? Хотя нет, выговор у нее парижский.

– Вы родились в Париже? – спросил я.

– Спасибо, – сказала она, не взглянув, – вот первый вопрос обо мне, который вы зададите. Но он не искупит вашего промаха. Глупее вы ничего не могли придумать. Возможно, если я попытаюсь... Извините, я через минуту вернусь.

Я откинулся и закурил. Пыль клубилась в наклонном солнечном луче; завитушки табачного дыма соединились с ней и закружились медленно и вкрадчиво, словно бы обещая в любую минуту образовать живую картину. Позвольте мне повторить здесь, что я не склонен обременять эти страницы чем бы то ни было, относящимся до меня лично; но, думаю, читатель (и кто знает, быть может, и дух Себастьяна тоже) позабавится, если я сообщу, что какой-то миг помышлял о том, чтобы предаться любви с этой женщиной. В сущности, это было очень странно, в то же самое время она меня раздражала – я разумею, то, что она говорила. Я как-то терял власть над собой. Когда она возвратилась, я мысленно встряхнулся.

– Ну вот, вы своего добились, – сказала она. – Элен нет дома.

– *Tant mieux*<sup>48</sup>, – отвечал я, – она, вероятно, едет сюда, и право, вы должны понять, до чего мне не терпится увидеть ее.

– Да зачем же, скажите на милость, было писать ей! – вскричала мадам Лесерф. – Вы же ее не знаете! Ведь я обещала вам, что она будет сегодня здесь. Чего ж вам еще? И если вы не доверяете мне, если вам угодно меня проверять, – *alors vous êtes ridicule, cher Monsieur*<sup>49</sup>.

– Ох, да помилуйте, – совершенно искренне сказал я, – у меня и в мыслях не было. Я подумал лишь, ну... что каши маслом не испортишь, как говорим мы, русские.

– Что мне за дело до масла... или до русских, – сказала она. Ну, что было делать? Я смотрел на ее руку, лежавшую рядом с моей. Ладонь чуть трепетала, рукав был такой тонкий, – и странная, легкая дрожь, не скажу, чтобы холодная, прошла у меня по хребту. Не следует ли мне поцеловать эту руку? Смогу ли я быть галантным, не ощущая себя окончательным дураком?

Она вздохнула и поднялась.

– Ну что ж, теперь ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули, и если она появится, – ну да не важно. Посмотрим. Вы не хотели бы пройтись по нашим владениям? Надеюсь, снаружи теплей, чем в этом несчастном доме, – *que dans cette triste demeure*<sup>50</sup>.

“Владения” состояли из сада и рожицы, уже отмеченной мной. Было так тихо. Черные ветви, там и сям утыканные зеленью, казалось, прислушивались к своей внутренней жизни. Что-то унылое и безотрадное нависало над этими местами. Земля, вырытая и кучей сваленная у кирпичной стены таинственным садовником, который исчез, забыв заржавленную лопату. Неведомо почему, я вспомнил случившееся недавно убийство, убийца зарыл жертву в точно таком же саду.

Мадам Лесерф молчала; наконец она произнесла:

– А вы, должно быть, очень любили вашего брата, раз подымаете столько шума вокруг его прошлого. Как он умер? Покончил с собой?

– О нет, – сказал я, – он страдал болезнью сердца.

– Вы, кажется, сказали, что он застрелился. Это было бы куда романтичнее. Я разочаруюсь в вашей книге, если все закончится в постели. Здесь летом розы растут, – вот здесь, в

<sup>48</sup> Тем лучше (франц.)

<sup>49</sup> Тогда вы - смешной, дорогой Господин (франц.)

<sup>50</sup> Чем в этом печальном жилище (франц.)

грязи, – но убейте меня, если я проведу тут еще одно лето.

– Мне, разумеется, и в голову не придет как-то подделывать его жизнь, – сказал я.

– Ну еще бы! Я знавала человека, который издал письма своей покойной жены и дарил их знакомым. Но почему вы считаете, что биография вашего брата кого-то заинтересует?

– А вы разве никогда не читали... – начал я, как вдруг элегантный, хоть и забрызганный грязью автомобиль подъехал к воротам.

– Черт побери, – сказала мадам Лесерф.

– Наверное, это она, – воскликнул я.

Из машины прямо в лужу выбиралась женщина.

– Да уж конечно, это она, – сказала мадам Лесерф. – Теперь оставайтесь, пожалуйста, здесь.

Она побежала по дорожке, маша рукой, и добежав до приезжей, поцеловала ее, повела налево, и там они обе пропали за кустами. Минуту спустя я вновь их увидел, – пройдя через сад, они поднялись по ступеням. И скрылись в доме. Елену фон Граун я рассмотреть не успел, видел только распахнутую шубку да цветистый шарф.

Я отыскал каменную скамью и сел. Я был взволнован и в общем доволен собой, тем, что затравил наконец свою дичь. Чья-то трость лежала на скамье, я принялся ковырять ею жирную бурую землю. Успех! Нынче же ночью, расспросив ее, я ворочусь в Париж и... Мысль, чуждая прочим, дразнящая, – дрожащий подкидыш – втерлась и замешалась в толпе... Да вернусь ли я нынче ночью? Как это там, бездыханная фраза во второсортном рассказике Мопассана: “Я забыл мою книгу”. Но и я свою забывал.

– А, так вот вы где, – произнес голос мадам Лесерф. – Я уж думала, вы домой уехали.

– Ну что, все в порядке?

– Куда там, – спокойно ответила она. – Понятия не имею, что вы ей написали, но она считает, что это связано с фильмовым контрактом, который она старается залучить. Говорит, вы загнали ее в западню. Теперь будете делать, что я вам скажу. Вы не станете говорить с ней ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но вы останетесь здесь и будете с ней очень милы. И она обещала все мне рассказать, а после, возможно, вам можно будет побеседовать с нею. Ну, договорились?

– Право, вы так добры – все эти хлопоты, – сказал я.

Она села рядом со мной на скамейку, а так как скамейка была коротенькая, я же довольно, – ну, скажем, дороден, – ее плечо коснулось моего. Я облизал губы и принялся выцарапывать на земле какие-то линии палкой, которую так и держал в руке.

– Что это вы пытаетесь нарисовать? – спросила она и кашлянула.

– Мои мыслительные волны, – глупо ответил я.

– Когда-то давным-давно, – мягко сказала она, – я поцеловала мужчину только за то, что он умел расписываться вверх ногами.

Палка выпала из моей ладони. Я уставился на мадам Лесерф. Я оглядел ее ровный белый лоб, я увидел фиалково-темные веки, которые она опустила, быть может, неверно поняв мой взгляд, – увидел крохотную бледную родинку на бледной щеке, нежные крылья носа, складочки на верхней губе, то, как она наклонила голову, тусклую белизну горла, алый лак на ноготках тонких пальцев. Она подняла лицо, странные, бархатные глаза ее с райками, посаженными чуть выше обыкновенного, не отрывались от моих губ.

Я встал.

– Что такое, – спросила она, – что это вы надумали?

Я покачал головой. Впрочем, она права. Кое-что я надумал – и это кое-что требовало немедленного разрешения.

– Мы что, возвращаемся в дом? – спросила она, когда мы двинулись по дорожке.

Я кивнул.

– Но она, знаете, еще не сейчас спустится. Скажите, вы на что-то обиделись?

Вероятно, я остановился и снова уставился на нее, на сей раз на ее ладную фигурку в этом палевом, облегающем платье.

В тяжком раздумье я тронулся дальше, и испещренная солнцем дорожка, казалось, неодобрительно сморщилась мне в ответ.

– Vous n'êtes guère amiable<sup>51</sup>, – сказала мадам Лесерф.

Стол и несколько стульев стояли на террасе. Безмолвный блондин, виденный мной за завтраком, сидел здесь, изучая устройство своих часов. Усаживаясь, я неловко зацепил его локоть, и он уронил крошечный винтик.

– Бога ради, – сказал он по-русски на мои извинения.

(Ага, так он, стало быть, русский? Отлично, мне это на руку.)

Мадам стояла спиной к нам и тихо напевала, постукивая ступней по каменным плитам.

И тогда я повернулся к молчуну-соотечественнику, долгим взором вникавшему в поломанные часы.

– А у ней на шейке паук, – тихо сказал я, по-русски.

Рука ее взметнулась к шее, она повернулась на каблуках.

– Што? – спросил тугодум-землячок, взглядывая на меня. Затем он посмотрел на мадам, неуверенно ухмыльнулся и закопался в часы.

– J'ai quelque chose dans le cou<sup>52</sup>... Я чувствую, у меня что-то сидит на шее, – сказала мадам Лесерф.

– Я, собственно, как раз говорил этому русскому господину, что, по-моему, у вас на шее паук, – произнес я. – Но я ошибся, то была игра света.

– А не завести ли нам граммофон? – оживленно спросила она.

– Мне страшно жаль, – сказал я, – но, думаю, мне лучше вернуться домой. Вы меня извините, не правда ли?

– Mais vous êtes fou<sup>53</sup>, – вскричала она, – вы сумасшедший, разве вы не хотели увидеть мою подругу?

– Возможно, в другой раз, – успокоительно сказал я, – в другой раз.

– Но объясните же мне, – попросила она, выходя следом за мною в сад, – в чем дело?

– Вы очень умно это проделали, – сказал я на нашем свободном и могучем русском языке, – вы очень умно проделали, заставив меня поверить, будто вы говорите о вашей подруге, меж тем как говорили вы все это время о себе. Ваш маленький розыгрыш мог затянуться очень надолго, кабы судьба вас не пихнула под локоть, заставив расплескать молоко. Потому что мне довелось встречаться с двоюродным братом вашего прежнего мужа, с тем самым, который умеет расписываться кверху ногами. Вот я и устроил для вас небольшую проверку. И когда вы безотчетно уловили русскую фразу, которую я прошептал... Но нет, ни слова из этого я не сказал. Я лишь поклонился и вышел из сада. Ей отошлют экземпляр этой книги, и она все поймет.

Назад Вперед

## Глава 18

Вопрос, который я собирался задать Нине, так и остался невысказанным. Я собирался спросить, приходило ли ей когда-либо в голову, что человек с серым лицом, чье общество она находила таким утомительным, был одним из замечательнейших писателей своего времени. Что было проку спрашивать! Книги ничего не значат для женщин ее пошиба; собственная жизнь кажется им увлекательней ста романов. Если б ее приговорили взаперти провести целый день в библиотеке, она бы уже к полудню померла. Я совершенно уверен, что Себастьян никогда не упоминал при ней о своей работе: это было бы то же, что толковать с летучей мышью о солнечных часах. Оставим же мышь дрожа кружить в густеющем сумраке: нескладным подобием ласточки.

В эти последние и самые грустные годы его жизни Себастьян написал “Неясный асфодель”, книгу, которая бесспорно является наивысшим его достижением. Где и как он ее

<sup>51</sup> Вы не дружелюбны (франц.)

<sup>52</sup> У меня что-то на шее (франц.)

<sup>53</sup> Но вы – сумасшедший (франц.)

писал? В читальной зале Британского музея (вдали от бдительного догляда м-ра Гудмена). На скромном столике, затиснутом в угол парижского “бистро” (не из тех, к которым благоволила его любовница). В полотняном кресле под оранжевым парасолем где-нибудь в Канне или в Жуане, когда она со своей шайкой бросала его ради какой-то попойки. В ожидальне безвестной станции, между двумя сердечными приступами. В отеле, под клекот тарелок, отмываемых во дворе. Во множестве иных мест, о которых я могу лишь смутно догадываться. Тема книги проста: человек умирает; на протяжении всей книги вы чувствуете, как он угасает; его память и мысль сквозят в ней с большей или меньшей отчетливостью (подобно нарастанию и спаду отрывистого дыхания), выплескивая один образ, потом другой, отпуская его носиться по ветру или выбрасывая на берег, где он, кажется, с минуту шевелится и живет собственной жизнью, но тут же седое море вновь увлакивает его, он тонет или странно преображается. Человек умирает, и он герой повествования; но в то время, как жизни прочих людей этой книги кажутся совершенно реальными (или по меньшей мере, реальными в найтовском смысле), читатель остается в неведении касательно того, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертное ложе, да и ложе ли оно вообще. Человек – это и есть книга; книга сама вздымается и умирает и подтягивает призрачное колено. Мысли-образы одна за другой разбиваются о берег сознания, и мы следим за рождением вещи или существа: за разрозненными останками потерпевшей крушение жизни; за неповоротливыми фантазиями, выползающими, чтобы затем распустить глазчатые крылья. Все они, эти жизни, – лишь комментарии к главной теме. Мы наблюдаем за кротким стариком-шахматистом по фамилии Шварц, как он присаживается на стул в комнате дома призрения, чтобы показать мальчику-сироте, как ходит конь; мы встречаем толстую цыганку с седой прядью в недорого, но надежно крашенной гриве; мы выслушиваем бледного прощелыгу, шумно обличающего политику тирании перед внимательным человечком в штатском посреди печально прославленной пивной. Миловидная высокая примадонна спеша ступает в грязную лужу, и ее серебристые туфельки гибнут. Плачет старик, его утешает одетая в траур девушка с мягкими губами. Профессор Нуссбаум, швейцарский ученый, убивает из револьвера свою молодую любовницу и себя в гостиничном номере, в половине четвертого утра. Они приходят и уходят, эти люди, другие, распахивая и захлопывая двери, оставаясь в живых столько времени, сколько остается освещенным их путь, и поочередно поглощаются главной темой: человек умирает. Кажется, он шевелит рукой или поворачивает голову на том, что может быть подушкой, и пока он шевелится, та или эта жизнь, за которой мы только что наблюдали, бледнеет или сменяется. Минутами его самосознание обостряется, и тогда мы чувствуем, что идем вдоль какой-то главной артерии книги. “Теперь, когда было уже слишком поздно и лавки жизни закрылись, он жалел, что все-таки не купил книгу, в которой всегда так нуждался; что не пережил землетрясения, пожара, крушения поезда; что так и не видел Татцвен-лу в Тибете и не слышал синих сорок, тараторящих в китайских ивах; что не заговорил с той беспутной школьницей с бесстыжими глазами, встреченной им однажды на безлюдной поляне; что не улыбнулся жалкой шутке некрасивой, застенчивой женщины, когда никто в комнате не улыбнулся; что упускал поезда, намеки, возможности; и не отдал бывшего в кармане гроша старому уличному скрипачу, который, дрожа, играл для себя самого в один холодный день, в одном позабытом городе”.

Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, принуждая их сталкиваться или коварно сплетая, принуждая их выражать то потайное значение, которое передается лишь чередованием волн, – как музыка китайского буйка становится слышной, только когда он колеблется. В “Неясном асфоделе” его метод достигает совершенства. Значение принадлежит не отдельным частям, но их сочетаниям.

Похоже, есть метод и в том, как автор изображает физический процесс умирания: ступени, ведущие в темноту; работа, поочередно выполняемая мозгом, плотью, легкими. Поначалу мозг следует определенной иерархии идей – идей относительно смерти: мнимоумные мысли, нацарапанные на полях позаимствованной книги (эпизод с философом): “Притяжение смерти: рассмотрение телесного роста в перевернутом виде, как удлинения свисающей капли, в конце концов срывающейся в пустоту”. Мысли поэтические, религиозные: “...заросшее болото материализма и золотые райские кущи тех, кого декан Парк зовет оптимистиками...” “Но умирающий знал, что это – не всамделишные идеи; что только о поло-

вине понятия смерти можно сказать, – она существует реально: эта сторона, – рывок, разлука, причал жизни тихо уплывает, трепеща носовыми платками: ах! так он уже на другой стороне, раз может различить уходящий берег; нет, пока нет, – он все еще мыслит”. (Так тот, кто пришел повидаться с отплывающим другом, может слишком запоздниться на палубе и все же не стать путешественником.)

Потом, мало-помалу, демоны физической немощи погребают под глыбами боли все разновидности мысли, философии, догадок, воспоминаний, надежд, сожалений. Ковыляя, мы плетемся уродливыми ландшафтами, нам все равно, куда плестись, потому что все кругом – боль, и ничего кроме боли. Теперь метод обращается вспять. Вместо мыслей-образов, свет которых все замирал, пока они заводили нас в безвыходные тупики, к нам не торопясь подбираются, нас обступают мерзкие и грубые видения: история о ребенке под пыткой; рассказ беглеца о жизни в покинутой им жестокой стране; кроткий безумец с подбитым глазом; крестьянин, пинающий собаку – со злобой и вождельем. Наконец, замирает и боль. “Теперь он измучен настолько, что смерть утратила для него интерес”. Так “потные люди храпят в набитом битком вагоне третьего класса; так засыпает школьник, не докончив сложения”. “Я устал, устал... колесо катится и катится само собой, уже клонясь, уже замедляясь, уже...”

И тут волна света внезапно захлестывает книгу: “...будто кто-то рывком распахнул дверь, и люди, бывшие в комнате, встрепенулись, мигая, лихорадочно хватая узлы”. Мы понимаем, что стоим на пороге какой-то абсолютной истины, ослепительной в ее величии и в то же время почти домашней в совершенной ее простоте. С неслыханным мастерством сплетая слова, автор внушает нам веру в то, что знает правду о смерти и намерен ее открыть. Через миг-другой, в конце этого предложения, в середине следующего или, быть может, еще немножечко дальше мы узнаем что-то такое, что переменит все наши понятия, как если бы мы обнаружили, что, маша руками на какой-то простой, но доселе еще неиспробованный манер, мы сможем взлететь. “Самый неподатливый узел – это только перевитая веревка; тягостный для ногтей, он, в сущности, – вопрос нерадивости и сноровки в плетении петель. Глаза развязывают его, пока кровоточат неловкие пальцы. Он (умирающий) и был этим узлом, он развязался бы сразу, сумеи он увидеть и выследить нить. И не только он сам, распутано было бы все – все, что он мог представить в наших детских терминах “пространство и время”, которые оба – загадки, так и выдуманные человеком, как загадки, и в этом виде возвращающиеся к нам: бумеранги бессмыслицы. <...> Теперь он уловил нечто подлинное, ничего не имевшее общего с какими бы то ни было мыслями, ощущениями, опытом – со всем, чем он обладал в детском саду жизни...”

Ответ на все вопросы жизни и смерти, – “совершенное решение”, – оказался написанным на всем в привычном ему мире: все равно как если бы путешественник понял, что дикая местность, которую он озирает, есть не случайное скопище природных явлений, а страница книги, на которой расположение гор, и лесов, и полей, и рек образует связанное предложение; гласный звук озера сливается с согласным шелестящего склона; изгибы дороги пишут свое сообщение округлым почерком, внятными, как почерк отца; деревья беседуют в пантомиме, исполненной смысла для того, кто усвоил жесты их языка... Так путешественник по слогам читает ландшафт, и смысл его проясняется, и точно так же замысловатый рисунок человеческой жизни оборачивается монограммой, теперь совершенно понятной для внутреннего ока, распутавшего переплетенные буквы. И появляется слово, смысл, изумляющий своей простотой; и величайший сюрприз состоит, быть может, в том, что на протяжении земного существования, когда мозг был еще стянут железным обручем, облегающей грезой собственной личности, он ненароком не сделал умственного рывка, который отпустил бы на волю заточенную мысль, даровав ей великое понимание. Теперь загадка была решена. “И как только смысл всех вещей просиял сквозь их оболочки, множество идей и явлений, казавшихся самыми важными, съезжилось – не до утраты значения, ибо теперь ничего незначительного не осталось, но до тех же размеров, какие обрели другие явления и идеи, коим в важности прежде отказывалось”. Так блистательные исполины нашего разума – наука, искусство, религия – выпали из привычной схемы классификации и, взявшись за руки, смешались в радостном равенстве. Так вишневая косточка с тончайшей тенью, павшей на крашеную доску усталой скамьи, или драный клочок бумаги, или любая такая же мелочь из



миллионов и миллионов мелочей разрослись до дивных размеров. Мир, перестроенный, перетасованный, явил свой смысл душе с простотой обоюдного их дыхания.

Вот сейчас мы узнаем, в чем этот смысл; сейчас будет сказано слово, – и вы, и я, и каждый в мире хлопнет себя в лоб: ну и дураки же мы были! На этой, последней излучине книги автор, кажется, с минуту медлит, словно прикидывая, разумно ли будет раскрыть истину. Кажется, будто он поднимает голову, оторвавшись от умирающего, за мыслями которого следовал, отворачивается и задумывается: следовать ли за ним до конца? Шепнуть ли слово, которое сокрушит уютное безмолвие нашего разума? Да, шепнуть. К тому же мы зашли уже чересчур далеко, слово уже сложилось и все равно выйдет наружу. И мы поворачиваемся и вновь склоняемся к окутанной дымкой постели, к серым, расплывчивым очерканиям – ниже, ниже... Но минута сомнения оказалась фатальной – человека не стало.

Человека не стало, и мы ничего не узнали. Асфодель на другом берегу остался, как прежде, неясным. Мы держим в руках мертвую книгу. Или мы ошибаемся? Порой, перелистывая шедевр Себастьяна, я чувствую, что “совершенное решение” где-то здесь, то ли скрытое в каком-то пассаже, прочитанном мной слишком поспешно, то ли сплетенное с иными словами, привычные облики которых меня обманули. Я не знаю другой книги, которая создавала бы это особое ощущение, и, может быть, в том-то и состояло особое намеренье автора.

Я живо помню день, когда увидел в английской газете объявление о выходе “Неясного асфоделя”. Номер газеты попался мне в вестибюле парижского отеля, где я ожидал человека, которого моя фирма желала уместить в расчете на заключение некоторой сделки. Я не очень хорош по части улещиванья, да и сделка представлялась мне вовсе не такой многообещающей, как моим хозяевам. И пока я одиноко сидел в похоронно уютном холле, и читал издательскую рекламу, и смотрел на красивую черную фамилию Себастьяна, набранную прописными буквами, я завидовал его доле гораздо острее, чем когда-либо прежде. Я не знал, где он сейчас, я почти уж шесть лет не видел его, не знал я и того, как он болен и как несчастлив. Напротив, эта реклама в газете казалась мне знаменем счастья, – и я представлял, как он стоит в теплой и светлой зале какого-то клуба, сунув руки в карманы; уши пылают, влажно сияют глаза, по губам блуждает улыбка, – и все, кто ни есть в комнате, стоят вокруг него, держа стаканы с портвейном, и смеются его островам. Глупая вышла картинка, но она сверкала дрожащим орнаментом белых пластронов и черных обеденных фраков, и мягким тоном вина, и ясным очерком лиц – вроде одной из тех цветных фотографий, что помещают на задних обложках журналов. Я решил раздобыть эту книгу, едва она выйдет; я всегда сразу же добывал его книги, но почему-то заполучить эту мне не терпелось особенно. Тем временем спустился вниз человек, которого я ожидал. В разговоре о разных разностях, предварившем обсуждение нашего дела, я между прочим указал ему на объявление в газете и спросил, не читал ли он каких-либо книг Себастьяна Найта. Он сказал, что читал одну или две – “Что-то там призматическое” и “Утерянные вещи”. Я спросил, как они ему показались. Он ответил, что в общем понравились, но только автор произвел на него впечатление страшного сноба, по крайней мере в интеллектуальном отношении. Я попросил пояснить, и он добавил, что Найт, как ему представляется, все время играет в какую-то игру собственного изобретения, не сообщая партнерам правил. Он сказал, что предпочитает книги, которые заставляют задуматься, а книги Найта не то – они оставляют человека озадаченным и раздраженным. Тут он заговорил о другом здравствующем ныне писателе, которого ставил много выше Найта. Я воспользовался паузой, чтобы начать деловую беседу. Она оказалась совсем не такой успешной, как рассчитывала моя фирма.

“Неясный асфодель” получил массу рецензий, в большинстве своем пространных и лестных. Однако то там, то тут повторялся намек на то, что автор устал, и это выглядело по-другому выраженным утверждением, что он – просто старый зануда. Я уловил сверх того легкие признаки соболезнавания, словно они прознали об авторе что-то прискорбно безотрадное, чего в книге вроде и не было, но сквозило в их отношении к ней. Один критик даже позволил себе заявить, что читал книгу “со смешанным чувством, потому что сидеть у смертного одра, не вполне понимая, является ли автор лекарем или больным, – это довольно тяжелое испытание для читателя”. Почти все рецензии давали понять, что книга несколько длинновата, а многие ее места невняты и невнятно досадительны. Все восхваляли “ис-

кренность” Себастьяна, – что бы это такое ни было. Я гадал, что думает об этих рецензиях сам Себастьян.

Я одолжил свою книгу приятелю, который продержал ее несколько недель, не читая, а после забыл в поезде. Я раздобыл другую и ее уже никому не одалживал. Да, пожалуй что, из всех его книг эта – моя любимая. Не знаю, заставляет ли она задуматься, и не очень встревожусь, если это не так. Я люблю ее ради нее самой. Мне приятны ее манеры. И порою я говорю себе, что было бы не так уж и сложно перевести ее на русский язык.

## Глава 19

Мне удалось более или менее воссоздать последний год жизни Себастьяна: 1935-й. Он умер в самом начале 1936-го, и глядя на эти цифры, я невольно думаю, что между человеком и датой его кончины существует оккультное сходство. Себастьян Найт, ум. 1936... Эта дата видится мне отражением его имени в подернутой рябью воде. Что-то в изгибах последних трех цифр напоминает извилистые очертания Себастьяновой личности... Я пытаюсь, как часто пытался по ходу этой книги, выразить идею, которая могла бы привлечь Себастьяна... Если мне не удалось то там, то тут словить хотя бы тень его мысли, если подсознательная работа разума не позволяла мне выбирать порою правильный поворот в личном его лабиринте, значит, вся моя книга – неуклюжая неудача.

Появление “Неясного асфоделя” весной 1935 года совпало с последней попыткой Себастьяна увидеться с Ниной. После того, как один из ее прилизанных молодых негодяев сказал ему, что она желает навсегда избавиться от него, Себастьян вернулся в Лондон и прожил там пару месяцев в жалких попытках обмануть одиночество, как можно чаще появляясь на людях. Его тонкую, скорбную и безмолвную фигуру видели то там, то здесь, с шарфом вокруг шеи – даже в самых теплых гостиных, – он приводил их хозяек в отчаяние рассеянностью и кротким нежеланием участвовать в разговоре, – уходил в середине вечера, или его обнаруживали в детской, погруженным в вырезную картинку. Как-то раз мисс Пратт, проводив Клэр до дверей книжной лавки близ Чаринг-Кросс и продолжая свой путь, через несколько секунд столкнулась с Себастьяном. Он слегка покраснел, пожимая ей руку, но прошелся с ней до станции подземки. Она порадовалась, что он не появился минутой раньше, и порадовалась еще сильнее тому, что он не стал поминать о прошлом. Вместо этого он рассказал ей запутанную историю о том, как какие-то двое пытались прошлой ночью обжулить его во время игры в покер.

– Рад был повидаться с вами, – сказал он, когда они прощались. – Похоже, что это можно найти и здесь.

– Что найти? – спросила она.

– Я шел в [он назвал книжную лавку], но, по-моему, вон в том киоске есть все, что мне нужно.

Он ходил в концерты и на спектакли и пил за полночь горячее молоко с водителями такси у прилавков кофеен. Рассказывают, что он три раза подряд смотрел один фильм – совершенно безвкусный, под названием “Зачарованный сад”. Через два месяца после его смерти и через несколько дней после того, как я узнал, кто такая на самом деле мадам Лесерф, я обнаружил эту картину во французском синема и высидел ее до конца с единственной целью – понять, чем она его так привлекала. Где-то в середине действие переползло на Ривьеру, мелькнули купальщики, гревшиеся на солнце. Среди них была Нина? Это голое плечо – ее? По-моему, одна из женщин, обернувшихся на камеру, чем-то была на нее похожа, впрочем, масло для загара, и сам загар, и солнечные очки слишком уж хорошо преобразуют проплывающее лицо. Одну неделю в августе он был очень болен, но отказался уехать в постель, как предписал ему доктор Оутс. В сентябре он ездил за город в одно поместье: с хозяевами он был едва знаком, и пригласили они его просто из вежливости, поскольку он в разговоре упомянул, что видел в “Prattler” изображение их дома. Целую неделю он прослылся по холодноватому дому, где все остальные гости близко знали друг друга; затем в одно прекрасное утро прошел десять миль до станции и тихо уехал обратно в город, бросив смокинг и умывальные принадлежности. В начале ноября он завтракал с Шелдоном в его

клубе и был до того немногословен, что его друг недоумевал, зачем он вообще объявился. Потом пустота. По-видимому, он уехал за границу, но я не очень верю, что у него имелся какой-то определенный план по части попыток увидеться с Ниной, хотя, возможно, некоторая робкая надежда этого рода и была источником его беспокойства.

Большую часть зимы 1935 года я провел в Марселе, занимаясь кое-какими делами своей фирмы. В середине января 1936-го пришло от Себастьяна письмо. Как ни странно, написано оно было по-русски.

“Я, как видишь, в Париже и предположительно застряну тут на какое-то время. Если можешь прийти, приходи; если не сможешь, я не обижусь; но, может быть, лучше будет тебе прийти. У меня оскомина от множества мучительных вещей и в особенности от разводов на моих выползинах, так что я теперь нахожу поэтическое утешение в очевидном и обычном, в том, что я по разным причинам проглядел в течение жизни. Мне, например, хотелось бы расспросить тебя, что ты подделывал все эти годы, – и рассказать о себе: надеюсь, ты распорядился ими лучше меня. В последнее время я часто выдаюсь со старым доктором Старовым, с тем, что пользовал тамап [так Себастьян называл мою матушку]. Как-то ночью мы случайно повстречались на улице, – я отдыхал поневоле на подножке чьей-то оставленной до утра машины. Он, как видно, считает, что я прозябал в Париже с самой смерти тамап, – я согласился с этой версией моего эмигрантского существования, ибо всякие объяснения показались мне слишком сложными. Когда-нибудь к тебе могут перейти кое-какие бумаги; сожги их не медля; правда, они слышали голоса в [одно или два неразборчивых слова: “Дот чету”?], что ж, теперь им придется отведать и костра. Я содержал их и давал им ночлег, потому что спокойней, когда эти вещи спят, иначе, убитые, они замучат нас привидениями. Однажды ночью, ощутив себя особенно смертным, я подписал им смертный приговор, по нему ты их и узнаешь. Остановился я в своем всегдашнем отеле, да вот теперь переехал в подобие санатории, за город, заметь адрес. Это письмо я начал почти неделю назад и до слова “жизни” оно предназначалось совсем иному человеку. Потом оно как-то поворотило к тебе, словно стеснительный гость, завязавший в незнакомом доме длинный разговор с ближайшим из сродственников, оказавшихся на вечере вместе с ним. Так что прости, если я тебе докучаю, но мне что-то очень не нравятся эти голые ветви и сучья, которые я вижу в окне”.

Письмо меня, конечно, встревожило, но я не обеспокоился так, как следовало бы, зная, что с 1926 года Себастьян страдает неизлечимой болезнью, все усугублявшейся в последние пять лет. Вынужден со стыдом признаться, что естественную мою тревогу отчасти утишила мысль о том, что Себастьян очень легко возбудим и нервен и всегда впадает в неоправданный пессимизм при любом ухудшении здоровья. Я, повторяю, не имел ни малейшего представления о его сердечном недуге и потому смог себя убедить, что он страдает от переутомления. Все же, он болел и просил меня приехать тоном, который был нов для меня. Он, казалось, никогда не нуждался в моем присутствии, а тут – положительно молил о нем. Это меня и тронуло, и озадачило, и зная я всю правду, я, разумеется, бросился бы на первый же поезд. Письмо я получил в четверг и сразу решил в субботу ехать в Париж, чтобы вернуться воскресной ночью, потому что моя фирма, сколько я понимал, отнюдь не ожидала, что я возьму отпуск на решающей стадии развития дела, которым я, как предполагалось, занимаюсь в Марселе. Я решил вместо того, чтобы писать и объясняться, послать ему телеграмму утром в субботу, когда будет ясно, смогу ли я выехать ранним поездом.

Той ночью мне приснился на редкость неприятный сон. Мне снилось, что я сижу в большой сумрачной комнате, которую мое сновидение наспех обставило всякой всячиной, набранной в разных домах, я их смутно угадывал в ней, но с выпадениями и странноватыми подстановками, вроде, к примеру, книжной полки, бывшей одновременно пыльным проселком. У меня было туманное ощущение, что комната находится в деревенском доме или в сельской харчевне, – общее впечатление бревенчатых стен и деревянной обшивки. Мы ожидали Себастьяна – он должен был воротиться из какой-то долгой поездки. Я сидел на корзине или на чем-то еще, в комнате была тоже матушка, и еще двое пили чай за столом, вокруг которого мы сидели, – мужчина из моей конторы и его жена, с обоими Себастьян не был знаком, их поместил сюда постановщик сна – просто потому, что для заполнения сцены сгодится всякий.

Ожидание наше было тревожным, полным темных предчувствий, и я сознавал, что все они знают больше моего, но боялся выспрашивать, почему это матушку так беспокоит замызганный велосипед, который никак не желал втиснуться в платяной шкаф: дверцы все отворялись. На стене висела картина, изображавшая пароход, и волны на ней колыхались, словно процессия гусениц, и пароход мотался, и это меня сердило, – пока я не вспомнил, что такую картину по старому и повсеместному обычаю вешают на стену, ожидая возвращения путешественника. Он мог появиться в любую минуту, деревянный пол был у дверей посыпан песком, чтобы он не поскользнулся. Матушка унесла грязные шпоры и стремена, которые ей никак не удавалось припрятать, и смутная чета тихо упразднилась, ибо я был в комнате один, когда на галерее сверху отворилась дверь, и появился Себастьян, и медленно стал спускаться по шаткой лестнице, что вела прямо в комнату. Он был взъерошен, без пиджака: он, понял я, успел вздремнуть с дороги. Пока он спускался, немного приостанавливаясь на каждой ступеньке, шагая всегда с одной и той же ноги и опираясь рукой о деревянную балюстраду, вернулась матушка и помогла ему встать после того, как он запнулся и съехал вниз на спине. Он смеялся, приближаясь ко мне, но я чувствовал, что он чего-то стыдится. Лицо у него было бледное, небритое, но выглядело довольно веселым. Мама, с серебряной чашкой в руке, присела на что-то, оказавшееся носилками, потому что ее тотчас утащили двое мужчин, которые, как с улыбкой пояснил Себастьян, по субботам ночуют в доме. Вдруг я заметил, что на левой руке он носит черную перчатку и что пальцы этой руки не шевелятся, и он совсем не пользуется ею, – я ужасно, до омерзения, почти до тошноты испугался, как бы он ненароком не коснулся меня этой рукой, ибо я понял теперь, что это поддельная кисть, притороченная к запястью, – что он перенес операцию или какую-то страшную катастрофу. Я понял и то, почему его вид и вся обстановка его появления показались мне такими жуткими, но он, хотя, наверное, и заметил мое содрогание, спокойно пил чай. Матушка вернулась на минутку, чтобы прихватить забытый наперсток, и сразу убежала, так как мужчины спешили. Себастьян спросил меня, не пришла ли уже маникюрша, он спешил к банкету. Я пробовал переменить разговор, мысль о его увечной руке была невыносима, но тут же вся комната представилась мне как бы увиденной обгрызенными ногтями, и девушка, которую я знал (но теперь она странно выцвела), вошла с маникюрным прибором и уселась перед Себастьяном на табурет. Он просил не глядеть, но я уже не мог не подглядывать. Я увидел, как он расстегивает черную перчатку и медленно стягивает ее, и пока она сползала, из нее посыпалось единственное ее содержимое – крошечные кисти рук, похожие на мышь передние лапки, фиолетово-розовые, мягкие, их было очень много, они сеялись на пол, и девушка в черном встала на колени. Я пригнулся, посмотреть, что она там делает под столом, и увидел, как она собирает эти кисточки и складывает их в тарелку; я глянул вверх, – Себастьян пропал; и когда я снова согнулся, девушки не было тоже. Я почувствовал, что и минуты здесь больше не вынесу. Но едва я повернулся и нащупал щеколду, как услышал за собой голос Себастьяна; казалось, он доносился из самого дальнего и темного угла того, что стало теперь огромным амбаром, где зерно лилось к моим ногам из продырявленного мешка. Я не мог разглядеть Себастьяна, мне так не терпелось удрать, что слова, произносимые им, как бы тонули в гуле моего нетерпения. Я понимал, что он зовет меня, и говорит что-то очень важное, и обещает сказать что-то еще более важное, если я только приду в тот угол, где он сидел или лежал, придавленный упавшими ему на ноги тяжелыми мешками. Я шевельнулся, и тогда его голос долетел до меня последним, настойчивым зовом, и фраза, в которой не было никакого смысла, когда я вынес ее из сна, там, в сновидении, зазвенела, пронизанная таким совершенным значением, столь уверенным намерением разрешить для меня чудовищную загадку, что я все же кинулся бы к Себастьяну, когда бы уже не выбрался наполовину из сна.

Я знаю, что заурядный голыш, который обнаруживаешь у себя в кулаке после того, как по плечо окунул руку в воду, где, казалось, драгоценность сверкала на тусклом песке, – что он-то и есть желанная жемчужина, пусть и кажется она похожей на гальку, обсохнув под солнышком повседневности. Поэтому я понимал, что бессмысленная фраза, которая пела в моей голове, когда я проснулся, на деле была корявым переложением поразительного откровения; и пока я лежал на спине, слушая знакомые звуки улицы и музыкальную мешанину, которой приемник скрашивал чей-то ранний завтрак в комнате над моей головой, колю-

чий холодок некоего страшного предчувствия пронизал меня почти физической дрожью, и я решил послать телеграмму, извещающую Себастьяна, что приеду прямо сегодня. По дурацкой прихоти здравомыслия (никогда вообще-то не бывшего сильной моей стороной) я намерился все же выяснить в нашем марсельском отделении, обойдутся ли там без меня. Оказалось, не только не обойдутся, но сомнительно, чтобы я вообще смог уехать на выходные. В ту пятницу я вернулся домой очень поздно, после изнурительного дня. Дома меня с полудня ждала телеграмма, но так странно главенствуют банальности дня над деликатными откровениями сна, что я совсем забыл о его горячем шепоте и, вскрывая телеграмму, ожидал просто каких-нибудь деловых новостей.

“Состояние Себастьяна безнадежно приезжайте немедленно Старов”. Составлено было по-французски, “в” в имени Себастьяна отвечала его русскому произношению; невесть почему я отправился в ванную и простоял там минуту перед зеркалом. Потом схватил шляпу и побежал вниз. Было без четверти двенадцать, когда я достиг вокзала, и был поезд в 0.02, приходящий в Париж около половины третьего часа следующего дня.

Тут я обнаружил, что моей наличности не хватает на билет второго класса, и с минуту обсуждал сам с собой, не лучше ли вернуться домой, взять еще денег и вылететь в Париж первым же самолетом, в какой сумею попасть. Но близость поезда оказалась слишком большим соблазном. Я выбрал самую дешевую из возможностей, как обыкновенно делаю в жизни. И не раньше, чем тронулся поезд, я с ужасом сообразил, что оставил письмо Себастьяна в столе и адреса, данного им, не помню.

## Глава 20

В переполненном купе было темно, душно и тесно от ног. Струи дождя стекали по стеклам: они катили не прямо, но дергаными, неуверенными зигзагами, по временам застывая. В черном стекле отражался фиолетовый ночник. Поезд раскачивался и стонал, продираясь сквозь ночь. Как же она называлась, эта санатория? Что-то на “М”. Что-то на “М”. Что-то на... колеса сбились с напористого повтора, затем снова поймали ритм. Конечно, я получу его адрес у доктора Старова. Позвонить ему с вокзала, сразу, как только приеду. Чей-то сон в тяжелых ботинках попытался втиснуться меж моих голеней и не спеша отступился. Что подразумевал Себастьян под “всегдашним отелем”? Я не мог припомнить какого-то особого места в Париже, где бы он останавливался. Да, Старов должен знать, где он. Мар... Ман... Мат... Сумею ли я добраться туда вовремя? Бедро соседа притиснулось к моему, пока сам он переходил от одной разновидности храпа к другой, более заунывной. Сумею ли я попасть туда вовремя, поспеть к нему раньше, чем смерть? Суметь... смерть... суметь... смерть... Он что-то хотел сказать мне, что-то безмерно важное. Тьма, мотающееся купе, забитое раскоряченными манекенами, все казалось мне частью недавнего сна. Что сказал бы он мне перед смертью? Дождь хлестал и плыл по стеклу, и призрачные снежинки сбивались в угол окна и таяли. Кто-то медленно оживал прямо передо мной, шелестел в темноте бумагой, чавкал; потом запалил папироску, ее округлое тление устало на меня циклоповым оком. Я должен поспеть вовремя, должен. Почему я не бросился в аэропорт, едва получив письмо? Я был бы сейчас с Себастьяном! Что это за болезнь, от которой он умирает? Рак? Грудная жаба – та же, что у его матери? Как это бывает со многими, кого в обычном течении жизни вера не заботит, я наспех соорудил мягкого, теплого, смутного от слез Бога и прошептал простую молитву. Пусть я поспею вовремя, пусть он продержится до моего прихода, пусть скажет мне свою тайну. Уже валил один только снег, окно отпустило седую бородку. Человек, который чавкал и курил, снова уснул. Попробовать вытянуть ноги и положить на что-нибудь пятки? Я пошарил ноющими ступнями, но ночь оказалась напичканной костями и мясом. Я впустую томился по чему-нибудь деревянному под икрами и лодыжками. Мар... Матамар... Мар... Сколько от этого городка до Парижа? Доктор Старов. Александр Александрович Старов. Поезд лязгал на стыках, повторяя за мной “кс”, “кс”. Какая-то неведомая станция. Поезд встал, и из соседнего отделения донеслись голоса, кто-то рассказывал бесконечную повесть. Еще слышался перемежающийся звук сдвигаемых дверей, какой-то скорбный путник открыл и нашу дверь и увидел, что это безнадежно. Безнадежно.

Йtat dйsespйгй. Я должен поспеть вовремя. Как долго стоит этот поезд на станциях! Сосед справа вздохнул и попытался протереть окно, но оно оставалось мутным, только чуть желтоватый свет сочился сквозь него. Поезд опять тронулся. Болела спина, кости наливались свинцом. Я попытался закрыть глаза и вздремнуть, но оказалось, что веки выстланы снаружи текучими узорами, и крохотная вязанка лучей, похожая на инфузорию, поплыла наискось, опять и опять выезжая все из того же угла. Я вроде бы признал в ней очертания станционного фонаря, который мы давным-давно миновали. Потом появились краски, и розовое лицо с большими карими глазами медленно повернулось ко мне, потом корзина цветов, а за ней небритый подбородок Себастьяна. Я больше не мог выносить эту карусель красок и, посредством бесконечных, опасливых маневров, похожих на поступь балетного танцора в замедленной съемке, выбрался в коридор. Там было очень светло и очень холодно. Сколько-то времени я курил, потом потащился в конец вагона и с минуту болтался над грязной, ревущей дырой в его брюхе, и потащился назад, и выкурил еще папиросу. Никогда и ничего я не желал так, как желал застать Себастьяна живым, – чтобы склониться над ним и уловить слово, которое он мне скажет. Его последняя книга, мой давешний сон, загадочность его письма – все заставляло меня твердо верить, что какое-то небывалое откровение сойдет с его губ. Если я еще застану их шевелящимися. Если не приду слишком поздно. В простенке между окон помещалась карта, но она ничего не имела общего с курсом моего путешествия. Мое лицо темно отражалось в оконном стекле. Il est dangereux... E pericoloso<sup>54</sup>... солдат с красными глазами промахнул мимо меня, и несколько секунд рука моя страшно зудела, зацепленная его рукавом. Невыносимо хотелось помыться. Хотелось смыть с себя шершавый мир и предстать перед Себастьяном в прохладной ауре чистоты. Ныне он покончил со всем, что есть брэнного в мире, и я не желал оскорблять его ноздри земною вонью. О, я непременно застану его живым. Будь Старов уверен, что я могу не поспеть, он не прислал бы такой телеграммы. Телеграмма пришла в полдень. Телеграмма пришла в полдень, Господи Боже мой! Уже прошло шестнадцать часов, и когда я еще доберусь до Мар... Мат... Рам... Рат... Нет, не “Р”, там “М” в начале. На миг я увидел неясную тень названия, но она расточилась, прежде чем я успел ее ухватить. И еще может случиться помеха: деньги. Придется прямо с вокзала бежать в контору, добывать хоть какие-то деньги. Контора совсем рядом с вокзалом. Банк дальше. Кто-нибудь из моих многочисленных друзей живет поблизости от вокзала? Нет, они все обитают в Пасси или около Порт-Сен-Клу – в двух русских кварталах Парижа. Я расплющил третью папиросу и поискал отделение посвободней. Слава Богу, никакой багаж не держал меня в том, которое я оставил. Но вагон был переполнен, а я слишком плохо соображал, чтобы додуматься пройти по составу. Я не уверен даже, было ли купе, в которое я ошупью втиснулся, другим или прежним: тут набилось столько же локтей и коленей, разве что воздух был не такой скверный. Почему я ни разу не навестил Себастьяна в Лондоне? Он несколько раз меня приглашал. Почему я так упрямо держался в стороне от него, ведь я любил его больше, чем кого бы то ни было? Эти чертовы ослы, что смеялись над его даром... Был, в особенности, один старый дурак, которому мне страстно хотелось свернуть тощую шею, – невыносимо хотелось. А, так это толстое чудовище, копошившееся справа, – женщина: одеколон и пот боролись за преобладание, одеколон уступал. Ни единая душа в этом вагоне не знала, кто такой Себастьян Найт. Та глава из “Утерянных вещей”, так жалко переведенная в “Cadran”<sup>55</sup>. Или это в “La Vie Littéraire”<sup>56</sup> Или я слишком опаздывал, слишком, и Себастьян уже умер, пока я сидел на этой проклятой скамье с глумливым лоскутиком кожаной тощей обивки, которая не могла обмануть мои ноющие ягодицы. Быстрей, ну, быстрее, пожалуйста! Почему ты считаешь, что на этой станции стоит стоять? и для чего стоять столько времени? Ну же, пошевеливайся. А, вот так-то лучше.

Очень медленно темнота выцветала в сероватую мглу, в окне становился едва различимым припорошенный снегом мир. Я страшно мерз в моем тонком плаще. Проявлялись,

<sup>54</sup> Он опасен (франц.)

<sup>55</sup> Циферблат (франц.)

<sup>56</sup> Литературная Жизнь (франц.)

словно с них сметали слои паутины и пыли, лица попутчиков. У соседки обнаружился термос, она нянчила его с почти материнской любовью. Я ощущал себя липким и изнурительно небритым. Мне казалось, что довольно будет коснуться атласа щетинистой щекой, и я брякнусь в обморок. Меж грязно-желтых туч затесалась одна телесная, и унылый румянец затеплился на заплатах талого снега в трагическом безлюдье оголенных полей. Выскочила дорога и недолго скользила вдоль поезда, и как раз перед тем, как ей отвернуть, велосипедист завиял среди снега, шуги и луж. Куда он? Кто он? Никто вовек не узнает.

Видимо, я продремал около часу – или хотя бы сумел прикрыть свое внутреннее око. Когда я открыл глаза, мои попутчики беседовали и ели, и мне вдруг стало до того муторно, что я выполз наружу и до конца пути просидел на откидном стуле, и разум мой был пуст, как это жалкое утро. Поезд, как оказалось, сильно запаздывал из-за ночного бурана или чего-то еще, и до Парижа мы добрались только без четверти четыре. Зубы у меня колотились, пока я шел по перрону, и на миг меня обуял дурацкий порыв пойти и потратить два-три звякавших в кармане франка на какое-нибудь питье покрепче. Однако я вместо того направился к телефону. Я листал обмякшую, сальную книгу, отыскивая номер доктора Старова, и старался не думать, что вот сейчас я узнаю, жив ли еще Себастьян. Старкаус, cuirs, reaux; Старли, jongleur, humoriste;<sup>57</sup> Старов... ага, вот он где: Жасмин 61-93. Я произвел обычные кошмарные манипуляции и забыл номер на полпути, и снова боролся с книгой, и вертел диск, и какое-то время слушал гадостную погудку. Минуту я просидел неподвижно: кто-то открыл дверцу и, недовольно бормоча, отретировался. Снова кружился и щелкал диск, пять, шесть, семь раз, и снова то же гнусавое гудение: донн, донн, донн... Да почему же мне так не везет? “Вы закончили?” – поинтересовался все тот же сварливый старик с бульдожьей физиономией. Нервы у меня были на пределе, и я обругал скверного старикашку. По счастью, освободилась соседняя будка; он захлопнулся в ней. Я продолжал попытки. И наконец преуспел. Женский голос ответил, что доктор ушел, но что с ним можно будет связаться в половине шестого. Я отправился в контору и не мог не заметить, что мое появление вызвало там некоторую оторопь. Я показал телеграмму шефу; он был вовсе не так участлив, как можно было бы ожидать. Задал мне несколько щекотливых вопросов касательно марсельского дела. Все же я получил необходимые деньги и смог заплатить за такси, оставленное мной у дверей. Было уже двадцать минут пятого, стало быть, в запасе у меня оставался почти час.

Я побрился и торопливо позавтракал. Двадцать минут шестого я позвонил по данному мне телефону и услышал, что доктор Старов отправился домой и вернется через четверть часа. У меня не осталось терпения, чтобы ждать, и я позвонил к нему домой. Уже знакомый женский голос ответил, что он сию минуту ушел. Я припал к стене (эта кабинка помещалась в кафе), выстукивая ее карандашом. Что же, я вообще никогда не смогу добраться до Себастьяна? Кто эти досужие идиоты, пишущие на стенах “Смерть жидам” или “Vive le front populaire”<sup>58</sup>, или оставляющие на них похабные рисунки? Какой-то безвестный художник начал было чернить квадраты – шахматная доска, ein Schachbrett, un damier<sup>59</sup>... В мозгу у меня что-то вспыхнуло, и слово осело на язык: Сен-Дамье! Я выскочил на улицу и остановил проезжее такси. Может ли он отвезти меня в Сен-Дамье, где бы оно ни находилось? Он лениво развернул карту и несколько времени ее изучал. Затем ответил, что потребуется самое малое два часа, чтобы туда добраться, – по нынешней дороге. Я спросил, как ему кажется, не лучше ли ехать поездом? Этого он не знал.

– Ну ладно, попробуем, только езжайте быстрее, – сказал я и, ныряя в машину, сшиб с головы шляпу.

Очень долго мы выбирались из Парижа. Все мыслимые разряды препятствий заступали нам путь, и думаю, никогда и ни к чему не испытывал я такой неприязни, как к руке одного полицейского на каком-то из перекрестков. В конце концов мы выползли из дорожной

<sup>57</sup> Жонглер, юморист (франц.)

<sup>58</sup> Ура Народному фронту (франц.)

<sup>59</sup> Шахматная доска (франц., нем.)

каши на длинную темную аллею, обросшую деревьями. Но двигались мы все еще недостаточно быстро. Я толкнул оконце и взмолился к шоферу, чтобы он увеличил скорость. Он ответил, что дорога слишком скользка, – раза два нас и вправду здорово занесло. Через час езды он притормозил и спросил дорогу у жандарма-велосипедиста. Вдвоем они долго разглядывали карту жандарма, после чего шофер вытащил свою, и они занялись их сличением. Где-то мы взяли неверный поворот, нужно было вернуться не меньше, чем на две мили. Я еще постучал в стекло, такси просто ползло. Он потряс головой, даже не обернувшись. Я посмотрел на часы, было около семи. Мы остановились у заправочной станции, и водитель душевно побеседовал с человеком из гаража. Я не мог сообразить, где мы, но теперь дорога шла вдоль огромных просторов полей, и я надеялся, что мы близимся к цели. Дождь со свистом лупил в стекло, и когда я снова призвал водителя прибавить ходу, он вышел из себя и начал орать. Откинувшись на сиденье, я испытывал оцепенение и беспомощность. Освещенные окна протекли, расплываясь, мимо. Да удастся ли мне когда-нибудь добраться до Себастьяна? Застану ли его живым, если вообще попаду в Сен-Дамье? Раз или два нас обгоняли машины, и я привлекал внимание водителя к тому, как они шибко едут. Он не отвечал, потом внезапно затормозил и, сильно дергая руками, развернул свою глупую карту. Я любопытствовал, не заблудился ли он опять. Он смолчал, но выражение у его толстой шеи было презлое. Тронулись. С радостью я заметил, что теперь он едет много быстрее. Проехали под железнодорожным мостом и выскочили к станции. Пока я гадал, не Сен-Дамье ли это наконец, водитель сполз с сиденья и рывком отворил дверцу.

– Ну, – спросил я, – теперь в чем дело?

– Поезжайте-ка вы все же поездом, – сказал он. – Я не желаю ради вас калечить машину. Вон линия на Сен-Дамье, вам еще повезло, что вы хоть сюда добрались.

Мне повезло даже сильнее, чем он полагал, потому что через несколько минут должен был подойти поезд. Станционный жандарм божился, что к девяти я буду в Сен-Дамье. Эта, последняя часть моего пути была самой смутной. В вагоне я оказался один, и странное оцепенение обуяло меня: при всем нетерпении я жутко боялся заснуть и пропустить станцию. Поезд останавливался часто, и всякий раз я изнемогал, отыскивая и разбирая название станции. В какой-то миг меня пронзило мерзкое ощущение, что я только сию минуту проснулся после невесть сколько продлившейся тяжкой дремоты, – и когда я посмотрел на часы, было четверть десятого. Неужели прошляпил? Я намеревался уже дернуть стоп-кран, как ощутил замедление хода и, высунувшись в окно, увидел проплывающий мимо и застывающий светящийся знак: “Сен-Дамье”.

Четверть часа спотыкливой прогулки по темным проулкам и сосновому, судя по шумным вздохам, лесу привели меня к больнице Сен-Дамье. Я услышал за дверью возню и сопение, и толстый старик, облаченный в плотный серый свитер взамен пиджака, и в изношенных войлочных шлепанцах, впустил меня. Я очутился в подобии канцелярии, тускло освещенном голой и хилой электрической лампой, с одного боку как бы одетой в пыль. Старик, моргая, смотрел на меня, илистые наносы сна блестели на оплывшем лице, и неизвестно почему, я заговорил шепотом.

– Я приехал, – сказал я, – чтобы повидать мосье Себастьяна Найта. K-n-i-g-h-t. Night. Найт.

Он крякнул и тяжело осел за письменный стол под висячей лампой.

– Поздновато для посетителей, – пробормотал он, ровно бы себе самому.

– Пришла телеграмма, – сказал я, – мой брат очень болен, – и проговорив это, я вдруг осознал, что делаю вид, будто у меня нет и тени сомнения, что Себастьян еще жив.

– Как фамилия? – со вздохом спросил он.

– Найт, – сказал я. – Начинается на “К”. Это английская фамилия.

– Иностранные фамилии следовало бы заменять номерами, – проворчал старик, – так оно было бы проще. Тут один большой помер прошлой ночью, так у него фамилия...

Жуткая мысль, что он говорит о Себастьяне, оглушила меня... Неужто я все-таки опоздал?

– Вы хотите сказать... – начал я, но он помотал головой, листая конторскую книгу, лежавшую на столе.

– Нет, – проворчал он, – английский мосье не умер. К, К, К...



– К, n, i, g... – снова начал я.

– C'est bon, c'est bon<sup>60</sup>, – перебил он. – К, н, К, г... н... Я не идиот, знаете ли. Номер тридцать шесть.

Он позвенел в колокольчик и с зевком отвалился в кресле. Я ходил туда-сюда по комнате, трепеща от неодолимого нетерпения. Наконец вышла сестра, и ночной портье указал ей на меня.

– Номер тридцать шесть, – сказал он сестре.

Я пошел за ней следом по белому коридору и по короткому лестничному маршу.

– Как он? – не выдержал я.

– Не знаю, – сказала она и подвела меня к другой сестре, сидевшей за столиком в конце другого белого коридора, точной копии первого, и читавшей книгу.

– Посетитель к тридцать шестому, – сказала моя провожатая и тихо скользнула прочь.

– Но английский мосье спит, – сказала сестра, молодая круглолицая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком.

– Ему лучше? – спросил я. – Понимаете, я его брат, я получил телеграмму...

– По-моему, ему лучше, – с улыбкой сказала сестра, и это была самая прелестная улыбка, какую я только мог себе вообразить.

– Вчера утром он перенес очень сильный сердечный приступ, очень. А сейчас спит.

– Послушайте, – сказал я, вручая ей монету в десять или в двадцать франков, – я завтра еще приду, но мне бы хотелось зайти к нему теперь и побыть с ним минуту.

– О, но только не разбудите его, – сказала она, опять улыбнувшись.

– Не разбужу. Я просто посижу с ним рядом, всего только минуту.

– Право, не знаю, – сказала она. – Конечно, вы можете туда заглянуть, но только будьте очень осторожны.

Она подвела меня к двери под номером тридцать шесть, и мы вошли в крохотную комнатку, род чулана, с кушеткой; она слегка подтолкнула внутреннюю дверь, уже приотворенную, и я на миг заглянул в темную палату. Сначала я слышал лишь стук моего сердца, но после различил быстрое и тихое дыхание. Я напряг глаза: ширма или что-то еще наполовину обступала койку, да и слишком было темно, чтобы различить Себастьяна.

– Ну вот, – шепнула она. – Я оставляю дверь приоткрытой, а вы можете минутку посидеть вот тут, на кушетке.

Она включила маленькую лампу под синим абажуром и оставила меня одного. Сдуру я было сунулся в карман, за портсигаром. Руки еще тряслись, но я испытывал счастье. Он жив. Он мирно спит. Значит, сердце, вот, значит, как, – это оно его уложило... То же самое, что с матерью. Но ему лучше, надежда есть. Я поднял бы на ноги всех специалистов по сердечным болезням, какие есть на свете, лишь бы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, тихие звуки дыхания, сообщали мне ощущение безопасности, мира, дивного покоя. И сидя там, и слушая, и сжимая ладони, я думал о всех минувших годах, о наших редких, коротких встречах и знал, что теперь, едва он сможет выслушать меня, я скажу ему, что хочет он того или нет, но я теперь буду всегда рядом с ним. Мой странный сон, вера в некую важную истину, которой он поделился бы со мной перед смертью, – представлялись мне сейчас неясными, отвлеченными, словно бы потонувшими в теплом токе более простых, более человеческих чувств, в приливе любви к человеку, спящему за этой приотворенной дверью. Как мы смогли разойтись? Отчего я вечно был так туп, замкнут, несмел при наших недолгих разговорах в Париже? Сейчас я уйду и скоротаю ночь в отеле, или, может статься, мне отведут комнату здесь, в больнице, хотя бы до времени, когда я смогу повидаться с ним? На миг мне почудилось, что легкий ход дыхания задержался, что он проснулся и издал тихий сдавленный звук, прежде чем вновь погрузиться в сон: но вот ритм возобновился, так негромко, что я едва отличал его от собственного дыхания, сидя и вслушиваясь. О, я рассказал бы ему о тысяче разных вещей, я рассказал бы ему о “Призматическом факете”, и об “Успехе”, и о “Потешной горе”, об “Альбиносах в черном”, об “Изнанке Луны”, об “Утерянных вещах” и о “Неясном асфоделе” – обо всех этих книгах, которые я знал так хорошо,

<sup>60</sup> Это хорошо, это хорошо (франц.)

как если бы сам их написал. И он бы тоже разговорился. Как мало я знал о его жизни! Но теперь я каждый миг научался чему-то. Эта едва отворенная дверь, это была наилучшая связь, какую лишь можно вообразить. Нежное дыхание говорило мне о Себастьяне больше всего, что я знал когда-либо прежде. Если бы можно было курить, счастье мое было бы полным. Пружина клацнула в кушетке, когда я слегка переменял позу, и я напугался, что она могла потревожить его сон. Но нет: мягкий звук был здесь, он следовал узкой тропой, казалось, бегущей по самому краю времени, то ныряя в низину, то вновь появляясь, – уверенно пересекая ландшафт, образованный символами безмолвия – тьмой, завесами, синим отсветом лампы у моего локтя.

Наконец я встал и на цыпочках выбрался в коридор.

– Надеюсь, – сказала сестра, – вы не разбудили его? Это хорошо, что он спит.

– А скажите, – спросил я, – доктор Старов когда приедет?

– Какой доктор? – сказала она. – Ах, русский доктор. Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne<sup>61</sup>. Он будет здесь завтра утром.

– Понимаете, – сказал я. – Я хотел бы провести ночь где-нибудь здесь. Как вы полагаете, нельзя ли...

– Вы можете повидать доктора Гине прямо сейчас, – продолжала она тихим, приятным голосом. – Он живет по соседству. Так вы его брат, да? А завтра приедет из Англии его мать, n'est-ce pas<sup>62</sup>?

– Ах нет, – сказал я, – его мать умерла много лет назад. А скажите, как он в дневное время, разговаривает? Он сильно мучается?

Она нахмурилась и странно на меня посмотрела.

– Но... – сказала она, – я не понимаю... Пожалуйста, назовите вашу фамилию.

– Ну, правильно, – сказал я, – я ведь не объяснил. Вообще-то мы с ним братья лишь по отцу. Моя фамилия [и я назвал мою фамилию].

– Oh-la-la! – воскликнула она, заливаясь сильным румянцем. – Mon Dieu!<sup>63</sup> Но русский господин умер вчера, а вы навещали мосье Кеган...

Так что я все же не повидал Себастьяна, вернее, не увидел его живым. Но немногие минуты, которые я провел, прислушиваясь к тому, что принимал за его дыхание, изменили мою жизнь в такой полноте, в какой она изменилась бы, поговори со мной Себастьян перед смертью. Какова бы ни была его тайна, я тоже узнал одну, именно: что душа – это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе – в любом количестве душ, – и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени. Стало быть – я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене, куда выходят, откуда сходят люди, которых он знал, – смутные фигуры немногих его друзей: ученого, поэта, художника, – плавно и бесшумно приносят они свои дани; вон Гудмен, плоскостопый буффон с манишкой, торчащей из-под жилета; а там бледно сияет склоненная головка Клэр, пока ее, плачущую, уводит участливая подруга. Они обращаются вокруг Себастьяна, – вокруг меня, играющего Себастьяна, – и старый фокусник ждет в кулисе с припрятанным кроликом; и Нина сидит на столе в самом ярком углу сцены, с бокалом фуксиновой жижицы, под нарисованной пальмой. А потом маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер закрывает книгу, медленно вянет свет. Конец, конец. Все они возвращаются в их повседневную жизнь (и Клэр уходит в свою могилу), – но герой остается, ибо, как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я – Себастьян, или Себастьян – это я, или, может быть, оба мы – кто-то другой, кого ни один из нас не знает.

<sup>61</sup> Нет, именно Доктор Гине о нем заботится (франц.)

<sup>62</sup> Не так ли (франц.)

<sup>63</sup> Мой Бог (франц.)